



ДЖОАНН ХАРРИС

ПЕРСИКИ ДЛЯ МЕСЬЕ КЮРЕ

Магия жизни

Джоанн Харрис

Персики для месье кюре

«ЭКСМО»

2012

Харрис Д.

Персики для месье кюре / Д. Харрис — «Эксмо»,
2012 — (Магия жизни)

ISBN 978-5-699-65835-0

Стоило Вианн обосноваться на берегах Сены, привыкнуть к ровному течению жизни и тысяче повседневных мелочей, как незнакомый ветер снова позвал ее в путь. Он не расскажет Вианн о новых городах, где она никогда не бывала, или о чужеземцах, которых ей только предстоит повстречать. Он принесет ей новости о старых друзьях, которых она не видела уже восемь лет, и нашепчет о переменах, которые пришли на извилистые улочки старого Ланскне вместе с ароматом восточных пряностей и мятного чая.

ISBN 978-5-699-65835-0

© Харрис Д., 2012
© Эксмо, 2012

Содержание

Новолуние	6
Глава первая	6
Глава вторая	7
Глава третья	11
Глава четвертая	14
Глава пятая	18
Глава шестая	20
Глава седьмая	24
Глава восьмая	27
Глава девятая	30
Глава десятая	32
Глава одиннадцатая	42
Первая лунная четверть	45
Глава первая	45
Глава вторая	49
Глава третья	53
Глава четвертая	57
Глава пятая	63
Глава шестая	67
Глава седьмая	71
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Джоанн Харрис

Персики для месье кюре

© Тогоева И., перевод на русский язык, 2013

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*Моему отцу Бобу Шорту,
который никогда бы не позволил ни одному фрукту пропасть зря*

Новолуние

Глава первая

Одна женщина как-то сказала мне, что только во Франции каждый год четверть миллиона писем доставляют тем, кто уже умер.

Но вот о чем она даже не упомянула: иногда и нам приходят письма от мертвых.

Глава вторая

Четверг, 10 августа

Письмо принес ветер рамадана¹, хотя тогда я, конечно, этого еще не знала. В августе в Париже часто дуют ветры, и тогда кажется, что по пыльным улицам носятся маленькие дервиши², одетые в лохмотья; они скользят по тротуарам и что-то ищут, оставляя на щеках и ресницах прохожих колючие сверкающие песчинки; а солнце палит на них с небес, точно белый подслеповатый глаз, и жара стоит такая, что люди начисто лишаются аппетита. В августе Париж почти вымирает; живы только туристы да несчастные вроде нас, которые не могут себе позволить даже в отпуск уехать; в августе от Сены исходит зловоние, и тени нигде не найти, и ты, кажется, готов на все, лишь бы вырваться из раскаленного города и побродить босиком по полю или посидеть в тенистом лесу.

Ру все это, конечно, хорошо понимает. Он вообще для городской жизни не создан. А Розетт, когда ей скучно, начинает творить всякие пакости; я же упорно делаю из шоколада всякие сласти, которые некому покупать. Анук целыми днями пропадает в интернет-кафе на улице Мира, болтая с друзьями в «Фейсбуке», или поднимается на Монмартрское кладбище и наблюдает за бездомными котами, что скользят и прячутся среди каменных домов мертвых, и солнечный свет, падая, как лезвие гильотины, узенькой полоской разрубает густую тень между соседними гробницами.

Анук пятнадцать. Куда уходит время? Так же, потихоньку, испаряются из флакона духи, как бы плотно ты ни закрывала его пробкой; а однажды ты возьмешь флакон в руки и увидишь, что на дне осталась лишь капелька душистой жидкости, хотя тебе казалось, что ее там еще много...

Как тебе живется, моя маленькая Анук? Что происходит в твоём, неведомом мне, маленьком мире? Счастлива ли ты? Или душа твоя не знает покоя? А может, ты всем довольна? Сколько еще дней осталось у нас с тобой до той поры, когда ты навсегда покинешь мою орбиту и, стремительно улетев в космические дали, точно сорвавшийся с поводка спутник-бродяга, исчезнешь среди звезд?

Подобная череда мыслей посещает меня отнюдь не впервые. Страх следует за мной как тень еще с тех пор, как родилась Анук, но нынешним летом мой вечный страх стал как-то особенно силен, расцвел на этой жаре, словно некий чудовищный цветок. Возможно, это связано с воспоминаниями о моих матерях – о моей первой, покойной матери и второй, настоящей, которую я обрела всего четыре года назад. А может, всему виной Золи де л'Альба³, похитительница сердец, чуть не лишившая меня всего, что у меня есть? Она так ярко продемонстрировала, сколь хрупка наша жизнь, как легко разрушить твой тщательно выстроенный карточный домик – для этого хватит даже малейшего вздоха ветра.

Пятнадцать. *Пятнадцать*. В ее возрасте я уже успела вдоволь постранствовать по свету. И знала, что моя мать скоро умрет. И слово «дом» означало для меня тогда всего лишь место, где мы в этот раз остановились на ночлег. И у меня еще никогда не было настоящего друга. А любовь... любовь моя в то время была похожа на светильники, что зажигают по вечерам на террасах кафе; я воспринимала ее как источник мимолетного тепла, как нежное прикосновение, как чье-то лицо, которое едва успела разглядеть при свете горящего костра.

¹ Рамадан, или рамазан – девятый месяц мусульманского лунного года хиджры, тот самый, когда пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение. Весь этот месяц мусульмане соблюдают строгий пост (уразу) и могут есть и пить только после захода солнца. – *Здесь и далее примеч. перев.*

² Дервиш – мусульманский нищенствующий монах (*перс.*).

³ Одна из главных героинь романа Дж. Харрис «Леденцовые туфельки» (М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2009).

Анук, надеюсь, будет иной. Она уже и сейчас очень красива, но пока что об этом не подозревает. Но однажды она влюбится – и что тогда будет с нами? Но пока, уговариваю я себя, время еще есть. Пока в жизни Анук есть только один друг – Жан-Лу Рембо; обычно они неразлучны, но в этом месяце ему пришлось лечь в больницу. Жану-Лу предстояла очередная операция, у него тяжелый врожденный порок сердца; Анук никогда об этом не говорит, и я прекрасно понимаю ее страх, ибо он подобен моему собственному. Этот страх – точно темная тень; он подкрадывается к тебе и шепчет, шепчет: ничто не вечно!

О Ланскне Анук до сих пор порой вспоминает. Хотя в Париже она, в общем, вполне счастлива, но он кажется ей скорее долгой остановкой на пути, что ею еще не пройден, чем домом, в который она всегда будет возвращаться. Разумеется, наш плавающий дом – дом не совсем настоящий; ему не хватает убедительности каменной кладки, скрепленной известковым раствором. Вот Анук и вспоминает – в самом что ни на есть розовом свете, с забавной ностальгией, свойственной в основном маленьким детям, – маленькую *chocolaterie*⁴ напротив церкви, полосатые маркизы над окнами и ею самой нарисованную вывеску. И взгляд у нее такой тоскующий, когда она говорит со мной об оставленных в Ланскне друзьях, о Жанно Дру и Люке Клермоне, и о том, что там по улицам даже ночью никто ходить не боится, а двери в домах никогда не запирают...⁵

Понимаю, мне не следовало бы особо тревожиться. Характер у моей маленькой Анук, конечно, скрытный, но в отличие от большинства своих приятелей она по-прежнему с удовольствием общается с матерью, то есть со мной. И все у нас с ней пока что хорошо. А бывают и совсем чудесные дни, когда мы остаемся только вдвоем и, забравшись в кровать вместе с Пантуфлем – его я воспринимаю краешком глаза, как некое расплывчатое пятно, – устраиваемся перед экраном портативного телевизора; на экране мелькают загадочные тени и образы, за окнами уже темно, а Розетт и Ру сидят на палубе и, точно рыбу, ловят звезды в безмолвной Сене.

Ру прямо-таки пристрастился к роли отца. Я, честно говоря, такого никак не ожидала. Но Розетт – ей сейчас восемь, и она точная его копия – сумела, похоже, вытянуть из его души нечто такое, о чем ни Анук, ни я и знать-то не могли. На самом деле мне порой кажется, что Розетт куда сильнее связана с Ру, чем с кем бы то ни было еще; что она *принадлежит* ему. У них есть собственный тайный язык – комбинация диких воплей, улюлюканья и свиста, – с помощью которого они могут общаться часами и которого никто больше не понимает, даже я.

С другой стороны, моя маленькая Розетт по-прежнему почти ни с кем не разговаривает, предпочитая объясняться с помощью языка жестов, который освоила еще совсем маленькой, и пользуется этим языком весьма умело, проявляя прямо-таки завидную изобретательность. Еще ей нравится рисовать и заниматься математикой; например, sudoku с последней страницы газеты «Монд» она может решить за несколько минут; она также умеет складывать в уме целые столбцы больших чисел, ей даже не нужно их записывать. Однажды мы попытались отдать ее в школу, но из этого, разумеется, ничего не вышло. Здесь школы слишком велики, и ученики в них настолько лишены персонального внимания, что подобная обстановка совершенно не подходит такому *особенному* ребенку, как Розетт. Так что теперь ее учит Ру, и хотя их «расписание уроков» может кому-то показаться несколько необычным – основной упор Ру делает на занятия искусством и различные игры с числами, а также учит ее различать птиц по головам, – она, похоже, бесконечно этому рада. Друзей у Розетт, разумеется, никаких нет, если не считать Бама, и я порой замечаю, с какой странной тоской она наблюдает за детьми, идущими мимо нас в школу. Но в целом Париж относится к нам неплохо – при всем своем равнодушии и отсутствии внимания к конкретной персоне; и все же бывают такие дни, как, например, сего-

⁴ Шоколадная лавка (*фр.*).

⁵ Подробнее об этом – в романе Дж. Харрис «Шоколад» (М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2007).

дняшний, когда я, подобно Анук и Розетт, вдруг обнаруживаю, что мечтаю о чем-то большем. Большем, чем это суденышко на реке, от которой исходит зловоние; большем, чем этот равнодушный город, похожий на раскаленный котел с затхлым воздухом; большем, чем этот лес церковных башен и шпилей; большем, чем наш крохотный камбуз, где я готовлю шоколад на продажу...

Мечты о чем-то большем. Ох, какие обманчивые слова! Слово «больше» – точно пожиратель жизни, точно воплощение неудовлетворенности, точно та самая соломинка, что сломала спину верблюду, требуя... а чего, собственно, требуя?

Я очень счастлива в своей нынешней жизни. Счастлива с мужчиной, которого люблю. А еще у меня есть две чудесные дочери и любимое занятие, для которого я и родилась на свет. Доходов это занятие, правда, особых не приносит, но все же помогает нам платить за стоянку на Сене, да и Ру берется за любую работу, связанную со строительством или плотницким делом, так что в целом мы четверо вполне держимся на плаву. И по-прежнему рядом все мои друзья с Монмартра: Алиса, Нико, мадам Люзерон, хозяин маленького кафе Лоран, художники Жан-Луи и Пополь. Сейчас со мною рядом даже моя родная мать, которую, как мне казалось раньше, я потеряла столько лет назад...

Казалось бы, чего мне еще хотеть?

Все началось несколько дней назад, когда я у нас на камбузе возилась с трюфелями. В такую жару только трюфели можно делать более или менее без опаски; любые другие шоколадные конфеты рискуют вскоре испортиться – либо от хранения в холодильнике, либо от этой несносной жары, которая до всего добирается. Для приготовления трюфелей нужно слегка нагреть шоколадную глазурь на плите, затем переместить ее в чуть теплую духовку, добавить специи, ваниль и кардамон и дожидаться момента, когда простое кухонное действие превратится в акт домашней магии.

Чего еще могла бы я пожелать в такой момент? Ну, может быть, только легкого ветерка; самого легкого, как нежное прикосновение, как поцелуй в ямку на шее под затылком, где мои волосы, заколотые в неопрятный узел, уже начали на проклятой жаре попахивать потом...

Самого легкого ветерка... А что? Разве в таком желании есть что-то дурное?

И я призвала его, этот ветерок, – едва заметный, теплый, игривый ветерок, который гоняется за облачками в небе, словно котенок.

V'la l'bon vent, v'la l'joli vent,
V'la l'bon vent, ma mie m'appelle...⁶

Правда-правда, я вызвала совсем маленький ветерок; просто легкое дыхание и легкое свечение в воздухе, подобное чьей-то улыбке; и этот вздох ветра принес с собой отдаленный аромат цветочной пыльцы, специй, пряников. На самом деле мне всего лишь хотелось, чтобы этот ветерок немного причесал облака в летнем небе, принес в наш тесный уголок ароматы иных мест...

V'la l'bon vent, v'la l'joli vent...

И повсюду на Левом берегу сразу, точно бабочки, запорхали в воздухе фантики и обертки от сладостей; но игривый ветерок не унимался и задрал юбку какой-то женщине, шедшей через Сену по мосту Искусств, – оказалось, это мусульманка, лицо ее было закрыто черным покрывалом, *никабом*, теперь в Париже очень много мусульманок в *никабах*, – и на мгновение мне вдруг показалось, что из-под ее покрывала блеснуло нечто неясное, и сразу же над нею в рас-

⁶ Вот снова дует добрый ветер, веселый ветер, Вот снова дует добрый ветер, мой друг меня зовет... (фр.)

каленном воздухе возникла дрожащая дымка, а тени от деревьев, потревоженных дыханием ветра, вдруг превратились на пыльной воде в какие-то дикие абстрактные письмена...

V'la l'bon vent, v'la l'joli vent...

Мусульманка, шедшая по мосту, на мгновение остановилась и посмотрела на меня. Лица ее под *никабом* разглядеть, разумеется, было невозможно – я видела только глаза, сильно подведенные сурьмой. Но она смотрела на меня так внимательно, что я вдруг подумала: а что, если мы с ней знакомы? На всякий случай я подняла руку и помахала этой женщине. Нас разделяла неторопливо текущая Сена и становившийся все сильнее аромат шоколада, который доносился из открытого окошка нашей маленькой кухоньки.

Попробуй. Испытай на вкус. На мгновение мне показалось, что эта женщина сейчас тоже махнет мне рукой, но она лишь опустила темные глаза и, отвернувшись, двинулась дальше по мосту – безликая, вся в черном – навстречу ветру, принесенному рама-даном.

Глава третья

Пятница, 13 августа

Нечасто доводится получать письма от мертвых. Письмо было из Ланскне-су-Танн; и не просто письмо, а *письмо в письме*. Его нам прислали, разумеется, до востребования (ведь в плавающие дома почту не доставляют), и принес его Ру; он заглянул на почту, когда, как обычно, ходил за хлебом.

– Да самое обыкновенное письмо, – сказал он мне и пожал плечами. – И совсем не обязательно, чтобы это что-нибудь такое значило.

Но тот ветер дул уже и весь минувший день, и всю ночь, а мы такому ветру никогда не доверяли. К тому же сегодня он еще и стал порывистым, то и дело менял направление и разрисовывал поверхность молчаливой Сены мелкой рябью, похожей на запятые. Розетт, точно игривый котенок, упражнялась в прыжках на набережной у самой воды, играя с Бамом. Бам – это невидимый дружок Розетт; впрочем, невидимый он отнюдь не всегда. Мы, во всяком случае, видим его довольно часто. Даже наши покупатели порой его видят, особенно в такие дни, как этот; и Бам тогда лукаво посматривает на них с моста или свисает с ближайшего дерева, уцепившись хвостом за ветку. Розетт, разумеется, видит его *постоянно* – но, с другой стороны, и сама Розетт не такая, как все.

– Самое обыкновенное письмо, – снова сказал Ру. – Просто вскрой конверт и прочти.

Я доделывала последние трюфели и собиралась уже разложить их по коробкам. Шоколад вообще сохранить непросто, нужна правильная температура, а уж на нашем-то суденышке, где так мало места, лучше готовить что-нибудь самое простое. Например, трюфели. Во-первых, делать их очень легко, а во-вторых, порошок какао, в котором их обваливают, предохраняет шоколад от таяния. Коробки с готовыми трюфелями я храню под кухонным столом; туда же я убираю подносы со «старыми ржавыми железками» – гаечными ключами, отвертками, гайками и болтами; глядя на них, можно поклясться, что они настоящие, хотя на самом деле сделаны из шоколада.

– Да мы уж восемь лет как оттуда уехали, – сказала я, катая трюфель на ладошке. – И, между прочим, от кого оно, это письмо? Почерк я что-то не узнаю.

И тогда Ру сам вскрыл конверт. Он всегда поступает так, как проще всего. И всегда действует сразу; всяческие размышления он, в общем-то, считает излиш-ними.

– Письмо от Люка Клермона.

– От маленького Люка?

Я вспомнила неуклюжего подростка, который страшно стеснялся своего заикания. Господи, вдруг подумала я, да ведь теперь-то Люк, должно быть, совсем взрослый! Ру развернул листок и стал читать вслух:

Дорогие Вианн и Анук!

Как много времени уже прошло! Надеюсь все же, что это письмо до вас дойдет. Как вы знаете, когда умерла моя бабушка, она оставила мне все – и свой дом, и все свои деньги, и некий запечатанный конверт, который я не должен был вскрывать, пока мне не исполнится двадцать один год. День рождения у меня был в апреле, тогда я и вскрыл этот конверт, а внутри оказалось письмо, адресованное вам.

Ру вдруг умолк. Я повернулась к нему и увидела, что он держит в руках простой белый конверт, немного помятый, словно отмеченный морщинами прожитых лет и многочисленными прикосновениями живых рук к мертвой бумаге. На этом конверте темно-синими чернилами

было написано мое имя. Да, рукой Арманды – ее пораженной мучительным артритом, но властной рукой – было старательно выведено мое имя...

– Арманда... – только и сумела вымолвить я.

Ах, мой дорогой старый друг! Как это странно – и как печально – спустя столько лет получить от тебя весточку! Вскрыть запечатанный тобой конверт, сломать поставленную тобой печать, от времени ставшую совсем хрупкой. Краешек этого конверта ты, должно быть, облизала, прежде чем запечатать, как облизывала ложечку, вынув ее из чашки с моим сладким крепким шоколадом, – сладострастно, жадно, как ребенок. Ты всегда видела значительно дальше, чем я, – и меня тоже заставляла смотреть дальше, нравилось мне это или нет. И сейчас я совсем не была уверена, хочется ли мне, готова ли я узнать, что там, в этой весточке из мира мертвых, но ты-то хорошо знала: я так или иначе ее прочту.

Дорогая Вианн! (Так начиналось письмо, и я прямо-таки услышала голос Арманды: сухой, как порошок какао, и такой же нежный.)

*Я помню, как в Ланскне впервые провели телефон. У-у-у! Какое смятение это вызвало! Каждому хотелось испытать новый аппарат. Епископа, которому, собственно, телефон и поставили, буквально по уши засыпали всевозможными подарками и подношениями – лишь бы позволил позвонить. Ну, если людям казалось, что телефон – это настоящее чудо, то можешь себе представить, что бы они подумали об **этом письме**. И обо мне, которая ведет с тобой переписку из мира мертвых. Да, кстати, если тебе это интересно, то шоколад в раю действительно есть. Передай месье кюре, что тебе об этом сообщила именно я. Заодно и проверишь, научился ли он понимать шутки.*

Я перестала читать и на минутку присела на одну из табуреток.

– Все нормально? – с тревогой спросил Ру.

Я молча кивнула. И снова углубилась в письмо:

*Восемь лет. За восемь лет многое может случиться, верно? Маленькие девочки начинают взрослеть. Времена года успевают много раз сменить друг друга. Люди уезжают, приезжают, переезжают из дома в дом. Мой внук уже совершеннолетний – двадцать один год! Хороший возраст, это я еще помню. А ты, Вианн, – ты тоже уехала из Ланскне? Думаю, да. Ты не была готова остаться. Но это вовсе не означает, что когда-нибудь ты там не останешься, – запри кошку в доме, и единственное, к чему она будет стремиться, это вновь оказаться на улице. Но если ее оставить на улице, она будет мяукать под дверью до тех пор, пока ее не впустят в дом. Люди, в общем, ведут себя примерно так же. Ты сама это поймешь, если когда-нибудь туда вернешься. Но с какой стати туда возвращаться? Я будто слышу, как ты это спрашиваешь. Нет, я не утверждаю, что способна заглянуть в будущее. Во всяком случае, если я что-то там и вижу, то весьма смутно. Но ты однажды здорово встряхнула Ланскне, хотя и не все тогда восприняли это положительно. И все же, как известно, времена меняются. Мне, во всяком случае, ясно одно: раньше или позже, а в Ланскне ты вновь понадобишься. Однако я никак не могу рассчитывать на то, что наш упрямый кюре сообщит тебе, когда это случится. Так что уважь меня в последний раз: съезди в Ланскне. И детей с собой возьми. И Ру – если, конечно, он с тобой. Положишь цветочки на могилу одной старой дамы. Только не из магазина Нарсиса, а **настоящие**, полевые. Поздороваешься с моим внуком. Выпьешь чашку шоколада.*

Да, и еще одно, Вианн. Там, под стеной моего дома, раньше росло персиковое дерево. Если вы приедете летом, то персики наверняка уже созреют, и их нужно будет собрать. Раздай их детям и своим гостям. Мне даже думать противно, что все эти персики попросту склюют птицы. И помни, Вианн: все возвращается. Река под конец все приносит назад.

*Люблю тебя всем сердцем, как и прежде.
Твоя Арманда*

Я еще довольно долго молчала, тупо глядя на зажатый в руке листок; в ушах у меня все еще звучало эхо голоса Арманды. Господи, сколько раз мне слышался этот голос во сне или на грани сна! Голос Арманды и ее суховатый старческий смех всегда звучали так отчетливо, что мне казалось, будто я чувствую и ее запах – запах лаванды, шоколада и старых книг, – и от этого ощущения в воздухе словно позолота поблескивала. Говорят, никто не умирает совсем, пока его хоть кто-нибудь помнит. Возможно, именно поэтому Арманда по-прежнему так явственно присутствовала в моих мыслях, в моей душе – со своими темными, блестящими, как черная смородина, глазами, со своим дерзким нравом, со своими алыми нижними юбками, которые она надевала под черные траурные платья. Именно поэтому я бы никогда не смогла ей отказать, даже если б хотела; даже если и пообещала себе, что никогда больше в Ланскне не вернусь, хотя этот городок мы с Анук полюбили больше всех прочих и нам уже почти удалось остаться там навсегда, но тот ветер все же заставил нас уйти, и мы ушли, половину своей души оставив в Ланскне...

И вот теперь снова подул этот ветер. Он подул откуда-то из-за могилы Арманды и принес с собой чудесный аромат персиков...

И детей с собой возьми.

А почему бы и нет?

Назовем это каникулами, подумала я. Хоть какая-то причина уехать из душного города. Пусть Розетт немного поиграет на свободе, а Анук повидается со старыми друзьями. И потом, я действительно соскучилась по Ланскне; по его мрачноватым серо-коричневым домам; по его извилистым узким улочкам, которые, словно спотыкаясь, сбегают к берегам Танн; по узким полоскам полей на склонах голубоватых окрестных холмов. И по району Маро⁷, где жила Арманда; по старым заброшенным дубильням; по допотопным домам-развалюхам, что, как пьяные, наклонились над водами Танн; по причаленным к берегу лодкам и плавучим домам речных цыган, по их кострам...

Съезди в Ланскне. И детей с собой возьми.

Что, собственно, в этом плохого?

Я никогда ничего не обещала. И никогда не собиралась менять направление ветра. Но если уж ты можешь путешествовать во Времени, можешь вернуться назад и почувствовать себя *прежней*, то неужели же не попробуешь сделать это – хотя бы раз? Неужели не подашь ей какой-нибудь знак? Неужели не захочешь все исправить, как надо? И тем самым показать ей, что она не одинока?

⁷ Возможно, от *фр.* *maraud* – «презренный», «недостойный»; здесь – «отбросы общества». С другой стороны, Дж. Харрис далее в тексте дает собственное толкование этому названию, полагая, что это искаженное множественное число от *marais* («болото, топь, трясина»), что вполне соответствует действительности.

Глава четвертая

Суббота, 14 августа

Анук восприняла новость о предстоящей поездке с живым, даже каким-то трогательным энтузиазмом. Большинство ее школьных друзей разъехались – в августе все стремятся уехать из Парижа, – а поскольку Жан-Лу по-прежнему был в больнице, она слишком много времени проводила в одиночестве и спала, пожалуй, больше, чем было ей полезно. Я понимала: Анук, как и всем нам, необходимо уехать отсюда – хотя бы ненадолго. Париж в августе *действительно* ужасен; он превращается в город-призрак, сокрушенный десницей жары; витрины магазинов закрыты металлическими ставнями, улицы совершенно пусты, там лишь изредка можно встретить туристов с рюкзаками, в бейсболках и кроссовках, но даже стойкие туристы перемещаются стаями, точно мухи.

Я сказала Анук, что мы собираемся на юг.

– В Ланскне? – тут же с надеждой спросила она.

Такого я не ожидала. Нет, *пока* что не ожидала. Возможно, впрочем, Анук обо всем догадалась по цветам моей ауры. Но лицо ее моментально просветлело, а из глаз – они у нее столь же выразительны, сколь выразительна небесная синева во всех своих оттенках и проявлениях, – исчезло то грозное, точнее, предгрозовое выражение, столь свойственное им в последнее время; теперь глаза Анук возбужденно сияли, в точности как в тот день, восемь лет назад, когда мы впервые прибыли в Ланскне. Розетт, на мордашке которой тут же отражается все, что делает или говорит Анук, внимательно за нами наблюдала, ожидая своей очереди высказаться.

– Если всем это по душе, – наконец сказала я.

– Да это просто клёво! – воскликнула Анук.

– *Клё!* – эхом откликнулась Розетт, и тут же в грязной воде Сены что-то громко булькнуло, как будто это слово, рикошетом отскочив от поверхности реки, вернулось обратно: это Бам выразил одобрение нашей затее.

И только Ру ничего не сказал. С тех пор как мы получили письмо от Арманды, он вообще стал невероятно молчаливым. И дело было явно не в том, что он так уж любит Париж; если честно, он его едва терпит, причем исключительно ради нас; и здесь дом для него – это прежде всего река, а не сам город. К тому же в Ланскне с ним поступили не очень-то хорошо, а таких вещей Ру никогда не забывает. Он до сих пор еще имеет зуб на тамошних жителей из-за своего сгоревшего судна и из-за того, что случилось после пожара. Хотя и в Ланскне у Ру, конечно, есть друзья – например, Жозефина, – в целом он считает этот городок гнездом узколобых фанатиков, которые открыто ему угрожали, которые сожгли его дом, которые даже еду ему продавать отказывались. А уж что касается тамошнего кюре Франсиса Рейно...

Несмотря на чисто внешнюю, кажущуюся простоту, Ру – человек все же довольно замкнутый, даже немного угрюмый. Он напоминает дикое животное, которое можно приручить, однако оно никогда не забудет недоброго к себе отношения. Вот и Ру тоже способен быть и невероятно преданным, и свирепо злопамятным. Я подозреваю, например, что он никогда не переменит своего мнения о кюре Рейно; а прочих обитателей Ланскне – во всяком случае, подавляющее их большинство – так и будет воспринимать с легким презрением, считая кем-то вроде ручных кроликов, которые живут себе тихо на берегах Танн и даже за ближайший холм заглянуть не осмеливаются, которых безумно пугает и дыхание перемен, и появление в городе любого чужака...

– Ну а ты, Ру, – спросила я, – что ты об этом думаешь?

Он довольно долго молчал, глядя на реку и пряча лицо под низко свисающей прядью волос. Потом пожал плечами и сказал:

– Может, не стоит?

Подобная реакция меня удивила. Мое предложение поехать в Ланскне вызвало такой энтузиазм, что я и забыла заранее выяснить, как он отнесся к письму Арманды. Я просто решила, что и он с радостью воспримет возможность ненадолго переменить обстановку.

– Что значит «может, не стоит»?

– Арманда ведь к тебе в своем письме обращалась, а не ко мне.

– Но почему же ты до сих пор молчал?

– Я же видел, как тебе хочется туда поехать.

– А сам ты, значит, предпочел бы остаться здесь?

Он снова пожал плечами. Порой его молчание куда красноречивее слов. В Ланскне, во всей видимости, есть нечто – или скорее *некто*, – являющееся причиной абсолютного нежелания Ру вновь посещать эти места; но я прекрасно понимала: сколько его ни спрашивай об истинной причине, он все равно ни в чем не признается.

– Да все нормально, – сказал он, прерывая наконец затянувшееся молчание. – Не волнуйся. Поступай, как считаешь нужным. Съезди в Ланскне. Положи на могилу Арманды цветы. А потом возвращайся домой, ко мне. – Он улыбнулся и поцеловал мне кончики пальцев. – У твоих рук все еще вкус шоколада.

– Значит, не передумашь?

Он покачал головой.

– Ничего, вы ведь там недолго пробудете, – сказал он. – И потом, надо же кому-то и за судом присматривать.

И это действительно так, подумала я; однако мысль о том, что Ру не хочет ехать с нами и предпочитает остаться здесь, не давала мне покоя. Я-то уже размечталась, как мы поплывем туда все вместе, на своем судне. Ру отлично знает все водные пути Франции и сумел бы отлично проложить маршрут: сперва вниз по Сене, потом по лабиринту каналов до Луары и оттуда до Canal de Deux Mers⁸; затем, поднявшись по Гаронне и миновав систему шлюзов, мы наконец добрались бы до Танн с ее бесчисленными перекатами и тихими заводами и плыли бы потихоньку мимо полей, замков, заводов, любуясь тем, как река делается то уже, то шире; как ее грязно-зеленая с маслянистыми разводами вода то вдруг замедляет свой бег, то снова его убыстряет; как меняется ее цвет, становясь то коричневым, то черным, то желтым, а потом она вдруг превращается в чистую, прозрачную, деревенскую речку.

У каждой реки свой нрав. Сена – река городская, промышленная; этакий хайвей, по которому непрерывно снуют баржи, груженные лесом, всевозможными контейнерами и упаковочными клетями, металлическими балками и автомобильными запчастями. Луара с ее красивыми песчаными берегами весьма коварна; она и вправду очаровательна, когда серебрится в солнечных лучах, скрывая свой буйный нрав, но там полно опасных отмелей и ядовитых змей. Гаронна вся такая ухабистая, неровная, неправильная; в одних местах она очень щедрая, полноводная, а в других – настолько мелка, что даже такие маленькие суда, как наш плавучий дом, приходится перемещать с помощью шлюзов с одного уровня на другой, и на это уходит немало драгоценного времени...

В общем, ничего из моих тайных планов не вышло. В Ланскне мы поехали поездом. И это оказалось во многих отношениях лучше: во-первых, проплыть немалый путь по Сене – задача не самая простая; во-вторых, для этого нужно оформить множество документов и получить кучу разрешений; в-третьих, необходимо еще и сохранить за собой место у причала в центре Парижа, а также решить немало иных административных вопросов. И все же мне отчего-то было очень неприятно возвращаться в Ланскне вот так, с чемоданом в руке, словно я беженка и Анук снова бежит за мною следом, точно приبلудная собачонка.

⁸ Канал двух морей (*фр.*). Так называют Гаронну, поскольку она является частью водной системы, соединяющей Бискайский залив со Средиземным морем.

А впрочем, с какой стати меня должно это тревожить? В конце концов, мне абсолютно не нужно кому-то что-то доказывать. Да и я уже больше не та Вианн Роше, которую восемь лет назад занес в этот городок безумный ветер. У меня теперь есть свой бизнес, свой дом. Мы больше не какие-то речные крысы, которым приходится перебираться из одного селения в другое в поисках жалкой поживы и браться за любую временную работу – копать землю, сажать растения, собирать урожай. Теперь я сама отвечаю за свою судьбу. Теперь *я сама призываю ветер*. И ветер подчиняется моим приказам.

Но тогда к чему... такая поспешность? Неужели ради Арманды? Или, может, все-таки ради меня самой? И почему этот ветер, который и не думал ослабевать, когда мы уезжали из Парижа, становится все сильней, все настойчивей по мере того, как мы продвигаемся к югу? Почему в его голосе слышится одно лишь плаксивое требование: *спеши, спеши, спеши*?

Я положила письмо Арманды в ту шкатулку, которую всегда и всюду беру с собой; там хранятся и карты Таро, принадлежавшие моей матери, и еще кое-какие осколки прошлых лет. Впрочем, чтобы составить представление о целой жизни, их попросту не хватит; ведь мы тогда почти все время проводили в пути. Но все же там есть вещи, напоминающие о местах, где мы жили; о людях, которых мы встречали; о друзьях, которых мы теряли, едва успев приобрести. Там хранятся кулинарные рецепты, которые я собирала всю жизнь, и рисунки, сделанные Анук в школе. И несколько фотографий. И паспорта. Немногочисленные почтовые открытки, полученные мной от Ру. Свидетельства о рождении. Удостоверения личности. Прожитые мгновения, воспоминания о былом. Все то, из чего мы, собственно, и состоим, сжатое в каких-то два-три килограмма бумаги – примерно столько же весит человеческое сердце; но какими же неподъемными кажутся порой эти жалкие килограммы!

Спеши. Спеши. Снова я слышу в ушах этот голос.

Но чей он? Может, мой собственный? Или Арманды? А может, это голос переменившегося ветра, который сейчас настолько ослабел, что мне порой почти кажется, будто ветер совсем улегся?

Здесь, на последнем отрезке нашего пути, обочины дороги буквально покрыты одуванчиками, только они в основном уже отцвели, и в воздухе носятся облака крошечных белых семян.

Спеши. Спеши. Помнится, Рейно говорил, что если позволить одуванчикам отцвести и обсемениться, то на следующий год они заполонят все – обочины дорог, землю у живых изгородей, виноградники, церковные дворы и сады; они пробьются даже в трещины на тротуаре, и через пару лет вокруг будут одни одуванчики; а потом они в победоносном марше двинутся дальше по всей округе, голодные, неуничтожимые сорняки...

Франсис Рейно сорняки ненавидел. А мне одуванчики всегда нравились; нравились их веселые желтые головки, их вкусные листья. Но такого количества одуванчиков я никогда прежде не видела. Розетт сразу предалась своему любимому занятию – аккуратно срывала белые головки цветов и дула на них, рассеивая в воздухе летучие семена. И я понимала, что на будущий год...

На будущий год...

Как странно думать о том, что будет здесь на будущий год. Мы не привыкли что-либо планировать заранее. Мы всегда ходили на эти одуванчики; поселимся где-нибудь на одно лето, а потом подует ветер и унесет нас куда-то еще. Корни у одуванчиков мощные. Они и должны быть такими, чтобы найти поддержку и пропитание. А вот цветет это растение совсем недолго – даже если никто, вроде Франсиса Рейно, и не выкорчует его из почвы, – а потому, чтобы выжить, оно, едва успев обсемениться, вынуждено лететь вместе с ветром все дальше и дальше.

Уж не поэтому ли меня оказалось так легко снова заманить в Ланскне? Уж не реакция ли это на некий глубинный инстинкт, спрятанный в таких недрах моей души, что я сама едва сознаю вызванную им потребность непременно вернуться туда, где мною были однажды посе-

яны собственные упрямые семена? Интересно, выросло ли там что-нибудь за время нашего отсутствия? Остался ли в тех краях хоть какой-то след нашего недолгого пребывания? Как вспоминают нас тамошние жители? С любовью? С равнодушием? Да и помнят ли они нас вообще? Может, восьми лет вполне хватило, чтобы стереть в их душах всякую память о нас?

Глава пятая

Воскресенье, 15 августа

Ах, отец мой, им годится любой повод, лишь бы себе праздник устроить! В Ланскне, по крайней мере, дела обстоят именно так; здесь люди много и тяжело работают, и каждое новое событие – даже открытие очередной лавчонки или забегаловки – воспринимается как долгожданный перерыв в бесконечных трудах и заботах, как возможность передохнуть и по праздновать.

Сегодня день Пресвятой Девы Марии⁹. Национальный праздник. Хотя большинство церкви сторонится, предпочитая проводить время перед телевизором, а многие и вовсе уезжают к морю – отсюда до побережья всего часа два на автомобиле – и возвращаются под утро, пряча блудливый взгляд, точно домашние коты, всю ночь зря прошлявшиеся по улицам.

Я знаю. Я должен проявлять толерантность. Моя роль священника прямо на глазах претерпевает значительные изменения. Сегодня стрелка морального компаса в Ланскне указывает на совершенно иных людей – на столичных жителей и прочих чужаков, на местное начальство и тех, кто является образцом политкорректности. Недаром говорят, что времена меняются. Старые традиции и верования теперь должны быть приведены в соответствие с решениями, принятыми в Брюсселе мужчинами (а то и, не приведи Господи, женщинами) в строгих официальных костюмах, которые и столицу-то никогда не покидали, разве что проводили летний отпуск в Каннах или ездили покататься на лыжах в Валь-д'Изер.

У нас в Ланскне, разумеется, этому яду потребовалось несколько больше времени, чтобы добраться до жизненно важных центров общества. Нарсис по-прежнему держит пчел, как это делали его отец и дед, а мед так и не пастеризует, пренебрегая общеевропейскими запретами; впрочем, теперь он его с преувеличенной щедростью и довольным блеском в глазах раздает *абсолютно бесплатно*, как он выражается, но *только* в придачу к почтовым открыткам; а вот их он продает по 10 евро за штуку. Таким образом, ему удастся, не вступая в противоречие с новыми правилами и ограничениями, не нарушать и местную традицию, которая в течение нескольких веков оставалась неизменной.

Нарсис – не единственный, кто порой пренебрегает постановлениями властей. Есть еще Жозефина Бонне – до развода Жозефина Мюска, – которой принадлежит кафе «Маро»; так вот, она всегда старается сделать так, чтобы эти презренные речные цыгане подольше у нас прожили. Есть еще этот англичанин со своей женой Маризой – они владеют виноградником чуть дальше по дороге и часто нанимают речных цыган во время сбора урожая (разумеется, неофициально). Есть еще Гийом Дюплесси, который давным-давно уже на пенсии и не преподает в школе, однако по-прежнему дает частные уроки и всегда готов помочь любому ребенку, который его об этом попросит, – а ведь новый закон требует особой проверки всех, кто работает с детьми.

Разумеется, есть у нас и те, кто приветствует любые инновации – особенно если эти инновации тем или иным образом касаются их собственного благополучия. Каро Клермон и ее муж, например, теперь стали ярыми сторонниками законов, принятых в Брюсселе и Париже, и недавно вменили себе в обязанность пропагандировать в нашем городке *здоровый образ жизни и безопасность*; теперь они проверяют тротуары, надеясь обнаружить любые свидетельства пренебрежения к общественному порядку; ведут настоящую войну с теми, кто вынужден много ездить и часто покидать родной город, а также с прочими нежелательными элементами; всячески продвигают современные ценности и в целом явно чувствуют себя значительно выше прочих смертных. Мэра мы в Ланскне традиционно не избираем, но если б избирали, то самой

⁹ Успение, 15 августа.

очевидной кандидатурой, безусловно, стала бы Каро Клермон. Она и так уже возглавляет две общественные организации – «Соседи не дремлют» и «Лигу христианских женщин» – и наш деревенский «Книжный клуб», а заодно и движение по очистке речных берегов, и союз «Бдительные родители», которому вменяется в обязанность защищать детей от педофилов.

А церковь? Впрочем, кое-кто скажет, что Каро Клермон и в церкви всем заправляет.

Если бы ты, отец, лет десять назад сказал, что когда-нибудь и я начну симпатизировать бунтовщикам и «отказникам», я бы, скорее всего, рассмеялся тебе в лицо. Но с тех пор я сильно изменился. И стал ценить совсем другие вещи. В молодости мною правил Порядок; путаница и неразбериха, царившие в жизни моей паствы, служили для меня постоянным источником раздражения. Теперь же я гораздо лучше понимаю этих людей – хотя их действия и не всегда одобряю. Пытаясь разобраться в их проблемах, я стал испытывать к ним не то чтобы приязнь, но нечто весьма к этому близкое. Сам я, возможно, не стал от этого лучше, зато с годами понял: порой лучше немного прогнуться, чем сломаться. И этому меня научила Вианн Роше. Когда Вианн с дочерью покидали Ланскне, не было на свете человека счастливее меня, и все же я отлично понимаю, чем ей обязан. Да, это я понимаю отлично!

Вот почему, когда на исходе очередного здешнего карнавала мне вдруг словно почудился в воздухе легкий запах дыма, я отчего-то представил себе, что это Вианн Роше к нам возвращается. А что, это было бы вполне в ее духе – явиться в город накануне *войны*. Потому что в Ланскне *действительно пахнет войной*, отец. А в воздухе отчетливо пахнет грозой, и она вот-вот разразится.

Интересно, а Вианн тоже почувствовала бы это? И неужели так уж безнадежны мои мечты, что в данном случае она приняла бы мою сторону, а не сторону моих врагов?

Глава шестая

Воскресенье, 15 августа

Обычно я не посещаю тех мест, которые когда-то покинула. По-моему, слишком сложно и даже неприятно вновь столкнуться с тем, какие там за это время произошли изменения, — с закрытыми кафе, с заросшими дорожками, с тем, что старые друзья уехали или же переселились на кладбище или в богадельню. Между прочим, это они почему-то делают с завидным постоянством...

А некоторые места и вовсе меняются настолько, что мне порой с трудом верится, что я вообще когда-то там жила. В определенном смысле это даже лучше, ибо в таких случаях при виде знакомых мест не испытываешь мучительной сердечной тоски и тебе не кажется, что воспоминания о них уменьшились до размеров отражения в осколках того зеркала, которое мы разбиваем, уезжая навсегда. В иных же местах перемены почти не заметны, и оказывается, что это, как ни странно, пережить значительно труднее. Но мне никогда еще не доводилось вернуться туда, где ничто не изменилось бы *вовсе*...

По крайней мере, до сегодняшнего дня мне казалось, что это именно так.

В Ланскне нас занес ветер карнавала, и с тех пор минуло восемь с половиной долгих лет. Тогда этот ветер, казалось, обещал нам столь многое; дикий, безумный ветер, полный веселого конфетти, запаха дыма и соблазнительного аромата лепешек, которые пекли на обочине дороги. Но и на этот раз жаровня с лепешками стояла на прежнем месте, и праздничная толпа на улице была точно такой же, как и украшенная цветами повозка с пестрой командой фей, волков и ведьм. Я вспомнила, что и в тот раз купила *galette*¹⁰ у этого уличного торговца, и теперь тоже, и лепешка оказалась точно такой же вкусной и поджаристой, а ее аромат и вкус — тесто из ржаной муки, соль, сливочное масло — помогли мне разбудить память.

Тогда рядом со мной стояла Анук с пластмассовой трубой в руках. Теперь же Анук напряженно застыла с широко распахнутыми глазами, а пластмассовая труба на этот раз оказалась в руках у Розетт. *Тру-ру-ру-у-у!* Только теперь труба была красная, а не желтая и в воздухе не чувствовалось даже намека на заморозки; и все же и звуки вокруг, и голоса людей, и запахи были точно такими же, как тогда; и люди, одетые по-летнему — куртки и береты сменили белые рубашки и соломенные шляпы, кто же будет носить черное в такую жару? — вполне могли быть почти теми же самыми, особенно дети, которые точно так же скакали рядом с движущейся повозкой, подбирая длинные узкие разноцветные ленты, цветы и сладости...

Тру-ру-ру-у-у! — снова взывала труба, и Розетт засмеялась. Сегодня она в своей стихии. Сегодня она может носиться как сумасшедшая, вести себя как обезьянка и смеяться как клоун, и никто ничего не заметит, никто не сделает замечание. Сегодня она вполне *нормальна* — что бы это ни значило — и с удовольствием участвует в процессии, сопровождающей праздничную повозку, завывая и улюлюкая от восторга.

Сегодня, должно быть, 15 августа, подумала я. Я уж почти позабыла, какой это день. Я, в общем, не особенно слежу за церковными праздниками, но, наверное, все-таки должна была ее заметить — гипсовую Богородицу в позолоченной короне под балдахином из цветов. Ее торжественно несли впереди процессии четверо мальчиков-хористов, одетых в стихари, и на мальчишеских лицах явственно читалась легкая обида: еще бы, в такую жару тащиться в долгополых стихарях через весь город, когда все вокруг веселятся! На мгновение показалось, что я почти узнаю одного из хористов — он был очень похож на маленького Жанно Дру, дружившего с Анук в те далекие времена, когда мы держали в Ланскне лавку «Небесный миндаль». Но это, разумеется, попросту невозможно: Жанно теперь наверняка уже лет семнадцать. Но

¹⁰ Лепешка (*фр.*).

этот мальчик *действительно* был очень похож на Жанно. Может, это какой-то его родственник? Двоюродный брат? Или даже родной? А вон та девушка с крылышками феи, что едет на повозке, – вылитая Каролина Клермон. Женщину в голубом летнем платье легко можно принять за Жозефину Мюска, ну а мужчина с собакой – он, правда, стоял слишком далеко, и мне было трудно разглядеть его лицо под надвинутой на лоб шляпой – это, скорее всего, мой старый друг Гийом...

Интересно, кто этот тип в черном одеянии, стоящий чуть в стороне и с безмолвным неодобрением взирающий на праздничную толпу?..

Неужели это Франсис Рейно?

Тру-ру-ру-уу! Игрушечная труба из ярко-красного пластика звучала, естественно, на редкость фальшиво, но оглушительно. Так что человек в черном даже слегка вздрогнул, когда Розетт с дикими воплями, сопровождавшими вой трубы, пронеслась мимо него вместе с Бамом (сегодня он, кстати, виден вполне отчетливо).

Но человек в черном оказался вовсе не Рейно. И даже вообще не мужчиной. Мне стало это ясно, как только «он» обернулся, глядя вслед процессии. Оказалось, что это женщина-мусульманка, довольно молодая, судя по фигуре, но вся до кончиков пальцев в черном, и лицо скрыто *никабом*. Она даже перчатки черные надела, несмотря на чудовищную жару; единственное, что можно было хорошо разглядеть, это ее глаза, очень красивые, миндалевидной формы, темные, бездонные, совершенно непроницаемые.

Может быть, подумала я, мы с ней когда-то уже встречались? Да нет, вряд ли. И все же она казалась мне странно знакомой – возможно, из-за ярких цветов ее ауры, несколько необычно смотревшихся на фоне черной неподвижной фигуры; это были цвета карнавала, цветов, живых и бумажных, ярких лент и пестрых флажков.

Никто с ней не разговаривал. Никто даже не смотрел в ее сторону. Даже в Париже, где люди заезжены жизнью и ко всему привычны настолько, что вряд ли что-то способно привлечь их внимание и вызвать комментарии, закутанная в *никаб* мусульманка все же обычно бросается в глаза; но здесь, в Ланскне, где сплетни служат разменной монетой, как ни странно, никто даже не обернулся, чтобы взглянуть на женщину, закутанную в покрывало по самые глаза.

Неужели они все тут настолько тактичные? Возможно, конечно. Но, скорее всего, они просто боялись. Во всяком случае, толпа, разделившись на два рукава, как бы обтекала эту женщину в черном; возле нее даже образовалось некое свободное пространство; она, точно невидимый другим призрак, высилась над людским потоком среди дразнящих ароматов жареной еды и сахарной ваты, среди шума толпы и звонких детских голосов, огненными шутихами взмывавших в горячее синее небо.

Тру-ру-ру-у-у! О господи, опять эта труба! Я поискала глазами Анук, но моя старшая дочь куда-то исчезла, и на мгновение в душе вновь пробудился страх, обостренный долгой жизнью в столице...

И тут я наконец заметила Анук в самой гуще толпы – она разговаривала с каким-то мальчиком, примерно ее ровесником. Я решила, что это, скорее всего, кто-то из ее старых приятелей. Анук с трудом обретает друзей, но отнюдь не потому, что чужается общества сверстников. Как раз наоборот! Но многие, даже слишком многие, почувствовав, что она не такая, как все, начинают ее избегать, обходить стороной. Исключение составляет лишь Жан-Лу Рембо. Но Жан-Лу за свою короткую жизнь уже столько раз стоял на пороге смерти, что меня порой охватывает отчаяние: моей маленькой Анук и без того уже пришлось пережить столько потерь, однако самым близким своим другом она снова сделала мальчика, который едва ли доживет до двадцати.

Не поймите меня неправильно. Мне очень нравится Жан-Лу. Но моя маленькая Анук в определенном отношении невероятно чувствительна, и тут я прекрасно ее понимаю. Она, как и я, испытывает ответственность за многое, что ей неподвластно. Возможно, это связано

с тем, что она старший ребенок в семье; а может быть, на нее так повлияло случившееся с нами в Париже четыре года назад, когда нас чуть не унесло ветром¹¹.

Я снова и снова внимательно вглядывалась в толпу, пытаюсь отыскать знакомые лица. И на этот раз действительно узнала Гийома – он, разумеется, стал на восемь лет старше, но, в общем, остался таким же, и его собака – когда мы с Анук покидали Ланскне, собака была еще совсем щенком – послушно следовала за ним по пятам. А за Гийомом и его собакой, как всегда, тащились ребяташки, трещащие наперебой и без конца совавшие псу лакомства.

– Гийом!

Но он меня не услышал – слишком громко звучали музыка и смех. Зато стоявший рядом со мной мужчина вдруг резко обернулся, и я увидела его лицо, такое знакомое, с мелкими, четкими, какими-то *очень аккуратными* чертами; на меня с изумлением уставились его глаза, серые, холодные, но я все же успела мельком разглядеть цвета его ауры. Если честно, то, если бы не эти цвета, я вполне могла его и не узнать, ибо на нем не было привычной сутаны; но невозможно скрыть свою сущность всего лишь под кожей лица, точно под наспех напыленной маской...

– Мадемуазель Роше? – наконец вымолвил он.

Да, это был он, Франсис Рейно.

Ему уже стукнуло сорок пять, но он почти не изменился. Тот же подозрительный изгиб тонких губ. Так же тщательно зализывает волосы назад, пытаюсь подавить их природную курчавость. Тот же упрямый разворот плеч, словно у человека, несущего невидимый крест.

Правда, несколько располнел с тех пор, как я в последний раз его видела. По-настоящему толстым он, видимо, никогда не будет, но все же теперь в районе талии у него просматривалась приличная складка, и я подумала: вряд ли он в последние годы так уж строго соблюдал посты. Ему, пожалуй, это даже шло: он достаточно высокого роста, и ему всегда стоило быть чуть потолще; но самым удивительным оказалось то, что в уголках его холодных серых глаз я заметила морщинки, которые вполне можно было принять за намек на улыбку.

А он взял и действительно улыбнулся – застенчиво, неуверенно, как те, кто не привык улыбаться. И я, увидев эту улыбку, поняла, кого имела в виду Арманда, написав, что кому-то в Ланскне, возможно, понадобится моя помощь.

Разумеется, его цвета и так многое сказали. Если судить по внешности, то Рейно по-прежнему относился к той категории людей, которые способны полностью и весьма жестко себя контролировать. И все же я-то знала его лучше многих, так что сумела разглядеть под латами внешнего спокойствия глубочайшее волнение. Начнем с того, что воротничок священника он надел криво. Этот воротничок застегивается сзади с помощью маленькой клипсы и должен сидеть безукоризненно. Но у Рейно он съехал набок, и застежка была хорошо видна. Для такого щепетильного человека, как он, подобная небрежность в высшей степени необычна.

Что там, кстати, писала о нем Арманда?

В Ланскне ты вновь понадобишься... Однако я никак не могу рассчитывать на то, что наш упрямый кюре сообщит тебе...

Да и цвета ауры говорили сами за себя: напыщенное сочетание зеленых и серых тонов словно насквозь простреливал алый цвет отчаяния. И потом, этот настороженный, смущенный взгляд; так смотрит человек, который не знает, как попросить о помощи. Короче говоря, у Рейно был такой вид, словно он находился на краю пропасти, и я поняла: я не смогу уехать, пока не выясню, что здесь происходит.

И помни: все возвращается.

Голос Арманды явственно звучал у меня в ушах. Она умерла восемь лет назад, но сейчас говорила со мной как живая и была такой же упрямой, мудрой и озорной. Нет смысла пытаться

¹¹ Эти события описаны в романе Дж. Харрис «Леденцовые туфельки».

заглушить голоса мертвых – они неумолимы, их не заглушить ничем, и они по-прежнему будут звучать в ушах.

– Месье кюре! – с улыбкой воскликнула я.

А затем приготовилась скакать верхом на урагане.

Глава седьмая

Воскресенье, 15 августа

Боже мой, она совсем не изменилась. Длинные черные волосы; смеющиеся глаза; ярко-красная юбка и сандалии. В руке – наполовину съеденная лепешка; на запястье – звенящие браслеты; и дочка, как тогда, скачет следом за нею. На мгновение мне показалось, что время остановилось; даже ребенок почти не повзрослел.

Но ребенок-то, конечно, был другой. Это я понял почти сразу. Во-первых, эта девочка была рыженькая, а та, первая, – темноволосая. И потом, приглядевшись внимательней, я заметил кое-какие перемены и в облике самой Вианн: возле глаз пролегли тонкие морщинки, а на лице появилось какое-то настороженное выражение, словно прошедшие восемь лет научили ее не доверять людям – а может, она просто все время ждала беды.

Я попытался улыбнуться в ответ, зная прекрасно, что личного обаяния мне всегда не доставало. Я не обладаю тем чудесным легким даром общения, который есть у отца Анри Леметра, священника из Тулузы, обслуживающего теперь и соседние с нами приходы – Шанси, Флориан и Пон-ле-Саул. Моя манера читать проповеди, по мнению многих (и в первую очередь Каро Клермон), признана *довольно сухой*. Я никогда не стремлюсь ни запугать паству, ни подчинить ее себе с помощью лести. Я всегда стараюсь быть честным, но в результате ни от кого не получаю благодарности – прежде всего, разумеется, мною недовольны Каро и ее приспешницы, всем им куда больше по душе священники, которые *участвуют в общественной жизни*, воркуют над каждым младенцем и позволяют себе ходить растрепанными и одетыми кое-как даже в дни церковных праздников.

Вианн Роше удивленно приподняла бровь, заметив мою улыбку; возможно, эта улыбка показалась ей несколько вынужденной. Что ж, в подобных обстоятельствах этого и следовало ожидать.

– Простите, я не...

Все дело, конечно, в сутане. Вряд ли она когда-либо видела меня без нее. Я всегда находил, что в традиционной черной сутане есть нечто успокоительное; что она символизирует определенный авторитет в обществе. Но теперь я довольствуюсь тем, что надеваю поверх простой черной рубашки воротничок священника, хотя, разумеется, не опускаюсь до того, чтобы носить потрепанные джинсы, как это часто делает отец Анри Леметр. Каро Клермон ясно дала мне понять: ношение сутаны (вне религиозных церемоний) не соответствует уровню современного прогресса и просвещенности. Каро Клермон пользуется благосклонностью епископа, и мне в свете последних событий пришлось научиться более или менее следовать правилам игры.

Я чувствовал, что Вианн рассматривает меня – с любопытством, но вполне доброжелательно. Я ждал, что она скажет: как вы изменились! Но вместо этого она улыбнулась – на этот раз удивительно искренней улыбкой – и легонько чмокнула меня в щеку.

– Надеюсь, вы не сочтете это чересчур неуместным? – лукаво спросила она.

– Даже если и счел бы, вряд ли вас это остано-вило бы.

Она засмеялась; глаза ее так и сияли. Стоявшая рядом с ней девочка вдруг издала ликующий вопль и что было силы дунула в пластмассовую дудку.

– Это моя маленькая Розетт, – пояснила Вианн. – А мою Анук вы, конечно же, помните.

– Конечно.

Разве я мог ее пропустить, не заметить? Анук теперь стала хорошенькой темноволосой девушкой лет пятнадцати. Я видел, что она оживленно о чем-то беседует с сыном Жолин Дру, абсолютно не замечая, как сильно она выделяется на общем фоне в своих линялых джинсах и желтой, цвета нарциссов, рубашке; пыльные босые ноги обуты в простые сандалии, а роскош-

ные волосы стянуты на затылке каким-то жалким шнурком; наши деревенские девицы в своих праздничных нарядах, проходя мимо, поглядывали на нее весьма презрительно...

– Она очень похожа на вас.

Вианн улыбнулась.

– О господи!

– Но я хотел сделать комплимент...

Она снова рассмеялась, словно я позволил себе некую вольность. Я никогда толком не мог понять, что именно вызывает ее смех. Вианн Роше из тех людей, которые, по-моему, смеются надо всем на свете, словно жизнь – это вечная шутка, а люди вокруг бесконечно очаровательны и добры, хотя на самом деле они по большей части глупы и тупы, а то и полны настоящего яда.

И я, постаравшись придать своему тону максимум сердечности, спросил:

– Что снова привело вас сюда?

Она пожала плечами:

– Да так, ничего особенного. Просто заехали, и все.

– Ясно.

Значит, она еще не слышала. А может, слышала и теперь просто со мной играет? Мы ведь расстались тогда при весьма неопределенных обстоятельствах; вполне возможно, она до сих пор имеет на меня зуб. И, между прочим, вполне заслуженно. Мало того, она имеет полное право даже презирать меня...

– Где же вы остановились?

Вианн снова пожала плечами.

– Я еще не уверена, что мы вообще где-нибудь остановимся. – Она снова посмотрела на меня; казалось, будто она взглядом ощупывает мое лицо. – А вы отлично выглядите, месье кюре.

– Вы тоже. Да вы совсем не изменились!

На этом обмен любезностями закончился. Я пришел к выводу, что о моих обстоятельствах ей ничего не известно, а ее приезд – именно сегодня! – это всего лишь совпадение. Ну и прекрасно! Возможно, так даже лучше. Да и что она может сделать? Одна-единственная, да еще женщина, да еще накануне войны?

– А что, моя шоколадная лавка на месте?

Этого вопроса я и боялся.

– Конечно, где же ей еще быть. – На нее я больше не смотрел.

– Правда? И кто же там теперь заправляет?

– Одна иностранка.

Вианн засмеялась.

– Ну да, «иностранка» из Пон-ле-Саул?

Близость наших приходов она всегда воспринимала как шутку. Хотя все наши ближайшие соседи свирепо блюдут собственную независимость. Некогда эти городки и деревни представляли собой *bastides*¹², крошечные города-крепости в тесном сплетении таких же крошечных доминионов, а потому даже теперь в них еще сохранилось несколько настороженное отношение к любым чужакам.

– Но вам же захочется где-нибудь остановиться, – сказал я, не ответив на ее шуточный вопрос. – В Ажене, например, есть несколько хороших гостиниц. А если доехать на автомобиле до Монтобана...

– У нас нет автомобиля. Мы брали такси.

– Ясно...

¹² Bastide (*фр.*) – укрепленный средневековый город на юго-западе Франции, в Провансе – просто деревенский дом.

Карнавал близился к концу. Я видел, как по главной дороге проехала последняя повозка; она вся, от оглобелей до задней стенки, была завалена цветами и покачивалась, точно пьяный епископ в полном облачении.

– Вообще-то я думала, что можно было бы остановиться у Жозефины, – сказала Вианн. – Если, конечно, у нее в кафе найдется комната.

Я натянуто улыбнулся.

– Полагаю, это возможно.

Я понимал, что веду себя нелюбезно. Но позволить ей остаться здесь в столь чувствительный для меня период значит испытывать совершенно ненужные дополнительные волнения. И как это она всегда ухитряется появиться в самый неподходящий момент...

– Извините, но у вас, похоже, что-то случилось?

– Что вы, отнюдь нет! – Я постарался изобразить лучезарную улыбку. – Просто сегодня праздник Святой Девы Марии, и через полчаса начинается месса...

– Ах, месса... Хорошо, тогда и я с вами пойду.

Я так и уставился на нее.

– Но вы же никогда не ходите к мессе!

– Я подумала, что неплохо бы заглянуть в свой бывший магазинчик. Так просто. Вспомнить былое.

Мне стало ясно, что ее не остановить, и я приготовился к неизбежному.

– Но вашей *chocolaterie* больше не существует, – сказал я.

– Я и не думала, что она сохранится. И что же там теперь? Булочная?

– Не совсем, – сказал я.

– Ничего, надеюсь, хозяин лавки меня все-таки впустит – просто посмотреть.

Я тщетно пытался скрыть замешательство, она, конечно же, заметила это и спросила:

– В чем дело?

– Ну... я не уверен, что это хорошая идея...

– А почему? – Она не сводила с меня вопрошающих глаз.

Ее рыженькая дочка, присев рядом на корточки, превратила свою дудку в куклу и, бормоча себе под нос что-то невнятное, заставляла ее маршировать по пыльной дороге. Вполне ли она нормальна? – подумал я. Впрочем, я никогда не видел в детях особого смысла.

– Люди, которые там живут, не слишком дружелюбно настроены, – сказал я.

Вианн только рассмеялась в ответ.

– Надеюсь, я сумею с ними поладить, – сказала она.

И тогда я пустил в ход свой последний козырь:

– Это иностранцы.

– Ну, так и я тоже, – сказала Вианн Роше. – Я уверена, мы отлично договоримся.

Вот как вышло, что в день Пресвятой Девы Марии к нам снова занесло ветром эту женщину – с ее умением все переворачивать вверх дном, с ее мечтами и с ее шоколадом.

Глава восьмая

Воскресенье, 15 августа

Карнавал закончился. Дева Мария в своем праздничном убранстве снова вернулась на церковный постамент; с нее сняли золоченую корону и спрятали до следующего года, да и венки на ней уже начал увядать. Август в Ланскне жаркий, а ветер, дующий с гор, еще больше иссушает тамошние земли. Когда мы вчетвером добрались наконец до церкви Святого Иеронима, тени успели стать гораздо длиннее, а солнце освещало лишь самую верхушку церковного шпиля. Колокола звонили, созывая народ к мессе, и толпа уже вливалась в двери храма: старушки в черных соломенных шляпках (изредка, правда, на шляпах встречались то лента, то пучок вишен, призванные хоть как-то смягчить полжизни, проведенные в трауре); старики в беретах, которые делали их похожими на школьников, лениво плетущихся в школу. Старики, наспех пригладив водой из колонки седины, старательно зачесали их назад и надели воскресные башмаки, которые уже успела покрыть желтая пыль. На меня никто даже не посмотрел. Да и мне никто в этой толпе знакомым не показался.

Рейно, шедший чуть впереди, оглянулся через плечо, и мне показалось, что в его повадке есть нечто неуверенное; да и шел он в сторону церкви как-то неохотно, хотя движения его были по-прежнему четкими и собранными; я заметила, что он еле переставляет ноги, словно ему хочется продлить путь. Розетт тоже утратила весь свой энтузиазм – вместе с пластмассовой дудкой, которая развалилась где-то по дороге. Анук шла впереди, и в одном ухе у нее был наушник айпода. Интересно, подумала я, что она слушает, затерявшись в этом своем, личном, мире звуков?

Обогнув церковь, мы вышли на маленькую площадь Сен-Жером и оказались напротив моей бывшей *chocolaterie* – того самого здания, которое мы с Анук впервые по-настоящему стали называть *домом*...

Несколько мгновений мы стояли молча. Слишком многое сразу бросилось в глаза: окна с выбитыми стеклами, провалившаяся крыша, гора мусора у стены. И совсем свежий запах – точнее, смесь запахов мокрой штукатурки, горелого дерева и воспоминаний, улетевших вместе с дымом.

– Что же здесь случилось? – вымолвила я наконец.

Рейно пожал плечами:

– Здесь был пожар.

Он сказал это почти с теми же интонациями, что и Ру, когда сгорел его плавающий дом. И голос его звучал так же устало и монотонно; в нем чувствовалось некое почти оскорбительное равнодушие. Мне даже захотелось спросить, уж *не он ли* устроил и этот пожар, – вовсе не потому, что я действительно так думала, а просто чтобы он хоть на мгновение утратил свое дурацкое самообладание.

– Кто-нибудь пострадал? – спросила я.

– Нет. – И снова эта нарочитая отстраненность, хотя в душе у него – я видела это по цветам ауры – все так и кипело, плевалось, выло.

– Там кто-нибудь жил?

– Да. Женщина с ребенком.

– Иностранцы, – уточнила я.

– Да.

Бледные глаза Рейно смотрели прямо на меня, точно бросая мне вызов. Разумеется, я и сама была здесь иностранкой – по крайней мере, по его определению. И я тоже была «женщиной с ребенком». Интересно, думала я, он специально подбирает слова? Может, с их помощью он хочет сказать мне еще что-то важное?

– Вы их знали?

– Совсем не знал.

Это тоже было необычно. В таком городке, как Ланскне, приходский священник знает всех. Либо Рейно лгал, либо та женщина, что жила в моем доме, ухитрилась сделать почти невозможное.

– И где же они теперь живут? – спросила я.

– В Маро, наверное.

– *Наверное?*

Он пожал плечами.

– Их там, в Маро, теперь великое множество, – сказал он. – С тех пор как вы уехали, здесь произошли большие перемены.

Я уже начала подозревать, что так оно и есть. Похоже, в Ланскне действительно произошли большие перемены. Все эти смутно знакомые лица, дома, беленые церковные стены, поля и улочки, что, извиваясь, спускаются к реке, старые дубильни на берегу, площадь с посыпанной гравием площадкой для игры в петанк¹³, начальная школа, булочная Пуату – все, что казалось мне символом уюта и покоя, когда я впервые здесь появилась, и выглядело в моих глазах вечным и неизменным, окрасилось теперь в иные тона. Все здесь словно покрыл налет тревоги, все дышало холодом любезного, но отстраненного дружелюбия.

Я заметила, как Рейно посматривает в сторону церкви. Все прихожане уже вошли внутрь, и я спросила:

– Вам, наверное, пора поскорее облачиться в сутану? Вы же не хотите опоздать к мессе.

– Сегодня службу отправляю не я, – он по-прежнему говорил абсолютно нейтральным тоном, – а приезжий священник, отец Анри Леметр. Он бывает у нас по особым случаям.

Мне это заявление показалось весьма странным, но я, будучи человеком далеким от церкви, от комментариев воздержалась. А Рейно ничего объяснять не стал. И стоял со мной рядом, застыв, как подсудимый, ожидающий приговора.

Розетт и Анук молча наблюдали за нами, то и дело посматривая в сторону нашей бывшей *chocolaterie*. Анук даже наушник из уха вытащила. Потом подошла к обугленной двери почти вплотную, и я знала: сейчас она вспоминает, как мы с ней мыли мылом и оттирали песком резьбу на этих старинных дверях; как покупали краски и кисти; как потом пытались отмыть волосы от краски, которой перепачкались, обновляя стены и наличники.

– Внутри, возможно, все далеко не так плохо, как снаружи, – сказала я и толкнула входную дверь. Незапертая дверь открылась легко. Но внутри оказалось еще хуже: посреди комнаты – гора сломанных стульев, по большей части сильно обгоревших и ставших бесполезными; скатанный в трубку почерневший ковер; останки мольберта на полу. На стене все еще висела школьная доска, и с нее на пол сыпались черные хлопья.

– Значит, здесь была школа? – громко спросила я.

Рейно мне не ответил. Губы его были плотно сжаты.

Розетт явно была недовольна и, надув губы, сказала на языке жестов: «*Мы что, будем здесь спать?*»

Я улыбнулась и покачала головой.

«*Вот и хорошо. А то Баму здесь не нравится.*»

– Мы переночуем где-нибудь в другом месте, – сказала я.

«*Где?*»

– Я знаю одно вполне подходящее местечко. – Я посмотрела на Рейно и все же спросила: – Я бы не хотела вмешиваться в ваши дела, но с вами, похоже, случилась какая-то беда?

¹³ Игра в шары, особенно популярная на юге Франции.

Он улыбнулся. Улыбка была чуть заметная, зато настоящая; на этот раз она отразилась даже в его глазах.

– Наверное, можно сказать и так.

– А вы вообще-то *собирались* идти к мессе?

Он молча покачал головой.

– В таком случае пойдемте со мной, – предложила я.

Он снова улыбнулся и спросил:

– И куда же мы с вами пойдем, мадемуазель Роше?

– Для начала положим цветы на могилу одной старой дамы.

– А потом?

– А потом сами увидите, – сказала я.

Глава девятая

Воскресенье, 15 августа

Полагаю, мне все-таки придется с ней объясниться. Я думал, мне, возможно, удастся этого избежать, но если она останется в Ланскне – а все указывает на то, что она останется, – то вскоре ей обо мне расскажут. А наши сплетники, как известно, бьют наповал. Как ни странно, она почему-то считает, что мы вполне можем поддерживать дружеские отношения. Так что, пожалуй, лучше уж мне самому открыть ей истину, пока идея о возможной дружбе между нами не успела полностью завладеть ее душой.

Вот о чем я думал, покорно следуя за Вианн и ее девочками на кладбище. Они буквально каждую минуту останавливались и рвали на обочине полевые цветы – по большей части самые настоящие сорняки, разумеется: одуванчики, амброзию, ромашки, маки; порой, правда, среди этого сброда попадались анемоны или отдельные стебельки розмарина; видно, их семена случайно залетели сюда из чьего-то сада; а может, и сами цветы, пробившись сквозь каменную ограду, пустили побеги в неподобающем месте.

Разумеется, Вианн Роше *любит* сорные травы. Как и ее дети, особенно младшая девочка; она прямо-таки с наслаждением предавалась игре; к тому времени, как мы добрались до места, Вианн собрала целую охапку разных цветов и трав, перевязала этот «букет» ленточкой, сплетенной из травинки, и украсила пучком дикой земляники...

– Ну, что скажете?

– Э-э-э... очень яркий букет.

Она рассмеялась.

– То есть, хотите сказать, неподходящий?

Да, это был *очень яркий, беспорядочный, неподходящий, неправильный во всех смыслах* этого слова букет – и все же в нем было некое странное очарование; собственно говоря, все приведенные эпитеты *полностью подходят и для описания самой Вианн Роше*, подумал я, но вслух, разумеется, этого не сказал. Все-таки мое красноречие – особенно в настоящий момент – имеет весьма ограниченные пределы.

А сказал я вот что:

– Арманде этот букет понравился бы.

– Да, – кивнула она, – я тоже так думаю.

Арманда Вуазен была похоронена в фамильном склепе – там же, где покоились и ее родители, и дед с бабкой, и муж, умерший лет сорок назад. Надгробие украшала высокая черная мраморная урна – Арманда эту урну всегда терпеть не могла, а в облицованном тем же черным мрамором углублении для цветов всегда в нарушение всех приличий сажала петрушку, морковь, картошку или еще какие-нибудь овощи, выказывая презрение к общепринятым способам выражения горя.

Как это похоже на нее – убедить свою молодую приятельницу принести к ней на могилу всякие сорняки! Вианн рассказала мне и о письме, присланном Люком Клермоном, и о вложенном в это письмо «загробном» послании Арманды. И опять же это вполне в духе Арманды Вуазен – во все вмешиваться, даже находясь по ту сторону могилы, и тревожить мою душу воспоминаниями о былом. Она написала, что и в раю есть шоколад. Богохульство! Даже мысли об этом абсолютно недопустимы, и все же в глубине души я надеюсь, что она – прости меня, Господи – окажется права.

Дети присели на краешек надгробия, поджидая, пока Вианн украсит могилу принесенными цветами; теперь в мраморном углублении были, как полагается, аккуратными рядками посажены золотистые бархатцы, и в этом сразу чувствовалась рука Каролины Клермон, дочери Арманды – ну, во всяком случае, по крови-то она ей точно приходится дочерью. Под кудря-

выми бархатцами я, правда, заметил какой-то жалкий сорняк, наклонился, хотел его выдернуть и узнал в нем крошечную морковку, нагло торчавшую из земли. Я улыбнулся про себя и оставил морковку в покое. Думаю, это Арманде тоже понравилось бы.

Наконец Вианн выпрямилась и сразу же спросила:

– Ну, теперь, может быть, вы все же объясните мне, что тут у вас происходит?

Я только вздохнул.

– Конечно, мадемуазель Роше, – сказал я и повел ее в сторону Маро.

Глава десятая

Воскресенье, 15 августа

Чтобы понять меня, вам, честное слово, нужно самим увидеть Маро, эти *трудоустройства* Ланскне – если столь урбанистический термин вообще применим к нашему городку, больше похожему на деревню и насчитывающему не более четырех сотен душ. Некогда в этой местности было кожевенное производство, дубильни и сыромятни, приносявшие Ланскне немалый доход; цеха стояли как раз на берегу Танн, у самой воды, а в соседних домишках жили те, кто так или иначе был связан с выделкой кож.

Подобное производство всегда связано с вонью и грязью, потому-то для него и отвели место подальше от города и ниже по течению реки, и те люди, что работали в этих цехах, существовали как бы в собственном мире – болотистой низине, полной зловония и нищеты. Но так было добрую сотню лет назад. Теперь, разумеется, никакие кожи там не дубят, а сами дубильни, как и домишки тамошних жителей – кирпичный низ и деревянный верх, – превратились в мелкие лавчонки и дешевое жилье, сдаваемое в аренду небогатым постояльцам. Вода в реке Танн снова стала чистой, и дети часто приходят туда, чтобы поплескаться на мелководье и поиграть на берегу, на тех больших плоских камнях, где некогда женщины скребками очищали кожи от мездры; это тяжкая, ломающая спины работа, и даже на камнях за долгие десятилетия остались следы – выбитые скребками углубления.

Именно здесь обычно швартуют свои суденышки *речные крысы* (политкорректность требует, чтобы мы больше не употребляли выражение «речные цыгане»); причалив к берегу, они жгут костры, жарят на решетке лепешки, бренчат на гитарах, поют и танцуют, продают нашим детям дешевые побрякушки и по их просьбе делают им на руках татуировку с помощью хны – к великому ужасу родителей и Жолин Дру, ныне возглавляющей нашу школу.

Раньше, по крайней мере, все действительно было так. Но теперь дети стараются держаться подальше от Маро, как, впрочем, и большинство взрослых. Даже речные крысы больше туда не заглядывают; я, во всяком случае, уже четыре года не видел там больше ни одного их плавучего дома – с тех пор как из Ланскне убрался Ру. В Маро теперь царит совсем иная атмосфера; там пахнет восточными специями и дымом, там звучит чужая речь, там все стало чужим...

Только не поймите меня неправильно. Я вовсе не испытываю неприязни к иностранцам. Кое-кто у нас в Ланскне действительно их терпеть не может, но ко мне это не относится. Я вполне радушно принял несколько первых иммигрантских семейств – тунисцев, алжирцев, марокканцев, всех этих *Pied-Noirs*¹⁴, которые у нас теперь проходят под общим названием *maghrebins*, «магрибцы», – когда они перебрались к нам из Ажена; я отлично понимал, что жители таких деревень, как наша, со своими собственными привычками и пристрастиями, где все совсем не так, как в больших городах, будут, скорее всего, против столь большой группы чужаков, да еще и совсем непохожих на них самих.

Сперва *maghrebins* стали прибывать в наши края из Марселя и Тулузы; пригороды этих больших городов настолько заражены преступностью, что им пришлось попросту бежать оттуда в поисках более тихих мест. Прихватив с собой свои немалые семьи, «магрибцы» стали переселяться в Бордо, в Ажен, в Нерак, а потом уж и в Ланскне – точнее, в Маро, ибо этот кусок нашей территории муниципалитет счел вполне пригодным для «радикального переустройства», и его тут же с удовольствием прибрал к рукам Жорж Клермон, основной здешний застройщик.

¹⁴ Буквально «черноногие» (*фр.*) – презрительное прозвище, которое французы дали алжирцам европейского происхождения, а затем и всем обитателям своих североафриканских колоний.

Это было почти восемь лет назад. Вианн Роше уже уехала, но Ру еще оставался в Ланскне и трудился над восстановлением той развалины, которая должна была в один прекрасный день стать его новым плавучим домом; жил он в кафе «Маро», оплачивая проживание за счет случайной работы – работу ему подкидывал в основном Жорж Клермон, который с одного взгляда способен отличить умелого плотника; он был страшно доволен тем, что Ру можно платить значительно меньше обычного и тот никогда не станет жаловаться, всегда берет плату наличными и готов иметь дело с людьми любого сорта.

Район Маро тогда имел совсем иной облик. Движение «За здоровый образ жизни и безопасность» еще не успело окончательно свести с ума членов местного совета, и допотопные развалюхи, построенные вдоль берега реки, смогли довольно быстро и недорого превратить в сносные жилые помещения и магазины. К этому времени там уже появился свой магазин тканей, а в соседней лавке стали продавать манго, чечевицу и ямс. В местном кафе вместо алкоголя теперь подавали мятный чай, а там по желанию клиента могли подать и стеклянный кальян для курения *кифа* – ароматной смеси табака и марихуаны, весьма распространенной в Марокко. Каждую неделю в Маро устраивали ярмарку, где торговали весьма странными и экзотическими фруктами и овощами, доставленными напрямую из доков Марселя, а также кое-какой бакалеей, печеными и жареными лепешками, катышками свежего сливочного масла, медовыми пряниками и миндальными пирожными.

В те дни «магрибское» сообщество насчитывало всего три или четыре семьи; все они жили на одной улице, которую некоторые наши жители (плохо зная географию) стали называть *Le Boulevard P'tit Baghdad*¹⁵. И ведь вряд ли кто-то из новых поселенцев хоть раз *бывал* в Багдаде. Нет, все они приехали из бывших французских колоний, а большинство и вовсе были иммигрантами в третьем, а то и в четвертом поколении; еще их родители, а то и дед с бабушкой приехали во Францию в поисках лучшей жизни. Одевались они весьма разнообразно и ярко; от *джеллабы* и *кафтана*¹⁶, столь распространенных в Марокко, до *бурнусов*¹⁷, свойственных скорее берберам; многие носили и вполне современную европейскую одежду, обычно дополняя ее каким-нибудь головным убором – шапочкой для молитвы или, скажем, турецкой феской.

Все они были, разумеется, мусульманами; между собой говорили на арабском и берберском языках; ездили в большую мечеть в Бордо и непременно соблюдали пост во время рамадана. Имелся у них и явный лидер, *имам* – семидесятилетний Мохаммед Маджуби, вдовец, живший вместе со старшим сыном Саидом и его семьей: женой, тещей и дочерьми-подростками Соней и Алисой.

Мохаммед Маджуби был человеком простым и скромным, с длинной седой бородой и молодыми озорными глазами. Его часто можно было видеть сидевшим на веранде дома, которая буквально нависала над водой; там он читал, закусывая солеными сливами, а косточки выплевывал прямо в реку. Его сын Саид владел небольшим спортзалом, а невестка вела хозяйство и заботилась о престарелой матери. Внуки Мохаммеда существовали как бы между двумя мирами – в школу ходили в джинсах и туниках с длинными рукавами, а дома носили более традиционную одежду и свои длинные волосы закручивали в узел и прятали под разноцветные шарфы.

В те далекие дни этот район вообще пестрел разными красками. Яркой была их еженедельная ярмарка; яркими были витрины магазинов, красиво оформленные всякими продуктами и рулонами разноцветного шелка. Их главная улица хоть и имела весьма звучное название – бульвар Маро, – на самом деле была самой обычной узкой, в одну колею, и довольно

¹⁵ Бульвар Маленький Багдад (*фр.*).

¹⁶ Джеллаб – долгополая свободная рубаша с длинными рукавами; кафтан – свободная рубаша примерно до колен с разрезами на боках.

¹⁷ Бурнус – закрытый плащ с капюшоном.

грязной дорогой, тянувшейся через все это жалкое поселение; многочисленные поколения речных цыган давно уже повыковыривали из этой дороги булыжник, и она постепенно приходила в негодность, а сменявшие друг друга представители городского совета полагали, что бюджет Ланскне лучше использовать на пользу его коренным жителям.

«Магрибцы», похоже, не возражали. Многие из них переселились из куда более страшных трущоб больших городов, из полуразвалившихся квартир. Они ездили на старых разбитых автомобилях без тормозов и даже не думали о страховке, а потому им было совершенно безразлично, в каком состоянии пребывает дорога. Сперва их молодежь весьма активно смешивалась с нашей; мальчишки играли в футбол на рыночной площади; девочки заводили себе подруг в школе. Несколько пожилых мусульманских женщин пристрастились к игре в петанк и в итоге стали играть так здорово, что несколько раз вчистую обыгрывали нашу команду любителей. В общем, «магрибцы» стали не то чтобы частью Ланскне, но и аутсайдерами их никто не считал; мало того, многим казалось, что они даже внесли определенный вклад в развитие нашего городка, принеся с собой дыхание иных мест, аромат иных культур, вкус к экзотике – ничего подобного, кстати сказать, не наблюдалось ни в одной из прочих *bastides*, расположенных на берегах Гаронны и Танн.

Кое-кто из местных по-прежнему был весьма настороженно настроен по отношению к иностранцам – Луи Ашрон, например, – но большинство с радостью восприняло тот факт, что Маро вышел как бы на новый виток жизни. Более всех, разумеется, был доволен Жорж Клермон – ему платили неплохое жалованье в муниципальном совете, субсидировавшем развитие этого района, однако он ухитрялся урвать для себя всюду, где только можно; а новые поселенцы словно не замечали, что вместо дуба он использует сосну или кладет на стены три слоя штукатурки вместо полагающихся пяти. Его жена Каро с удовольствием пользовалась этим дополнительным доходом и старательно закрывала глаза на чудовищное состояние тамошней дороги. Да и сами «магрибцы» сперва были настроены вполне дружелюбно; я помню, как Жозефина Мюска приносила из кондитерской с верхнего конца бульвара Маро целые груды сладкой выпечки – владелец тамошней кондитерской, Медхи Аль-Джерба, родился и вырос в старом Марселе и говорил по-французски с тем самым южным акцентом, который, как говорится, не вырубишь топором. Его булочки и пирожные всегда пользовались большим успехом в кафе Жозефины, и я отлично помню, как она попыталась расплатиться с Медхи и принесла ему в подарок две-три дюжины бутылок местного вина и страшно расстроилась, узнав, что *никто* из новых поселенцев к алкоголю даже не притрагивается. (Впоследствии мы обнаружили, что это не совсем соответствует действительности; сам Медхи Аль-Джерба вполне мог порой пропустить пару плотков – разумеется, исключительно в медицинских целях; а кое-кто из молодых мужчин довольно часто тайком посещал кафе «Маро», считая, что там на них никто и внимания не обратит.) В итоге вместо вина Жозефине пришлось купить в подарок горшки с цветущими геранями, которыми обитатели Маро и украсили свои подоконники, и все то лето тамошние булыжные мостовые имели ярко-красный оттенок. Я помню футбольные матчи между нашими ребятами и «магрибцами», помню, как порой отцы юных игроков приходили посмотреть на игру и каждый садился на своей стороне площади, но под конец матча они торжественно обменивались рукопожатиями. Помню даже, как Каро Клермон устраивала кофейные утреники для мусульманских женщин с детьми – разумеется, исключительно во имя *entente cordiale*¹⁸, – словно она была социальным работником из Парижа, а не самой обыкновенной провинциальной домохозяйкой...

Я все это рассказываю тебе, отец мой, чтобы доказать: этих людей встретили у нас *достаточно приветливо*. Понимаю, что в прошлом не раз грешил нетерпимостью, но всегда старался побороть ее и исправиться. Когда Жан-Пьер Ашрон изуродовал мерзкими надписями стену

¹⁸ Сердечное согласие (*фр.*).

спортзала, принадлежащего Саиду Маджуби, первым вмешался именно я и заставил мальчишку все соскрести. Когда Жолин Дру отказалась допустить к занятиям Захру Аль-Джерба, пока та не снимет головной платок, именно я обратил внимание Жолин на то, что начальная школа в Ланскне, вполне уместяющаяся, кстати, в одной-единственной комнате, – отнюдь не парижский лицей; я также заметил, что она и сама носит маленький золотой крестик, который, если уж строго следовать правилам, полагалось бы оставить за порогом школы.

Короче говоря – хотя тебе, отец мой, возможно, трудно в это поверить, – я с должным уважением относился к новым поселенцам. Я не принадлежу к тому типу людей, которые легко заводят друзей, но я действительно ничего не имел против той маленькой общины, что сложилась в Маро, – мало того, мне казалось, что нашим людям стоило бы кое-чему у этих *maghrebins* поучиться. Они всегда были вежливы, осмотрительны, никаких беспорядков не устраивали, уважительно относились к родителям и нежно любили детей; это были по-своему весьма благочестивые и скромные люди. С любой своей проблемой – будь то семейная ссора, мелкое преступление, несчастный случай или тяжкая утрата – они обращались к Мохаммеду Маджуби, чей статус в общине был достаточно высок; он как бы совмещал в одном лице функции священника, врача, мэра, адвоката и социального работника. Правда, методы старого Маджуби не всегда соответствовали нашим представлениям – а кое-кто (и в первую очередь Каро Клермон) и вовсе считал, что у него старческий маразм, а его манера руководить людьми чересчур эксцентрична. Но большинство жителей Ланскне относились к старому Маджуби с искренней приязнью. А уж в Маро его слово и вовсе было законом, там никто и не осмелился бы поставить под вопрос его авторитет.

Затем случилось первое событие. С первых дней своей жизни в Маро старый Маджуби носился с идеей преобразовать одно из старых зданий в мечеть. Но, как я понимаю, этот план оказался слишком дорогостоящим и вряд ли вообще имел смысл, даже если б и удалось подыскать строение, пригодное для подобной цели. Большая мечеть в Бордо находилась от нас не так уж далеко, да и все тогдашнее население Маро не превышало сорока человек – горстка семей.

Однако уже сами по себе планы Маджуби вызвали бурную дискуссию. На нашем берегу возникла даже целая оппозиция, энергично протестовавшая против этой идеи; оппозицию представляли такие стойкие католические семейства, как Ашроны и Дру. Мысль о том, что мечеть будет находиться буквально в пяти минутах ходьбы от нашей церкви, казалась им кощунственной; они воспринимали это как прямую атаку на нашу веру, как пощечину самому святому Иерониму, а может, и самому Господу Богу...

Старый Маджуби попросил меня вмешаться. Но я в данном случае не принял его сторону и не поддержал идею создания мечети – не потому, что я вообще против мечетей; просто в данном случае она мне представлялась ненужной...

Маджуби, однако, сдаваться не хотел. Заручившись поддержкой своего сына Саида, он выбрал одну из старых дубилен и вскоре с помощью средств, собранных мусульманской общиной Маро для подмазки местных властей и покупки необходимых материалов, и – разумеется, не без участия Жоржа Клермона – группа волонтеров превратила жуткую развалюху в самом конце бульвара в настоящую мечеть, ставшую центром всего поселения.

Пожалуйста, отец, постарайся понять правильно мои слова, что я не против мечетей. Конечно, возникновение мечети в Маро несколько противоречило местным планам застройки (на что мне и пришлось указать), однако эти противоречия были столь ничтожны, что я лишь мимоходом упомянул о них, дабы впоследствии избежать неприятностей.

И потом, результат был, безусловно, весьма скромен. Из старой развалюхи получилось вполне аккуратное и симпатичное здание, облицованное желтым кирпичом. Притом снаружи мало что указывало на то, что это место религиозного поклонения. Внутри все тоже выглядело довольно красиво: пол выложен плиткой, стены выкрашены светлой краской, и по ней с помощью трафарета нанесены золотом соответствующие цитаты из Корана. Будучи священником,

я стараюсь быть терпимым к любым верованиям, и я действительно предпринял определенные усилия, чтобы обитатели Маро поняли: мне очень нравится то, что они сделали, и я всегда к их услугам, если им вдруг понадобится моя помощь.

И все же в моих отношениях с общиной Маро произошел некий сдвиг. Еще во время нашего обмена мнениями старый Маджуби отчего-то вдруг стал вести себя вызывающе. Этот старик всегда отличался довольно упрямым нравом и одновременно каким-то странным легкомыслием, из-за чего порой было трудно понять, шутит он или говорит серьезно. Его сын Саид – человек куда более серьезный, и мне порой казалось, что для всей общины Маро стало бы лучше, если б отец уступил сыну и место имама, и право решать все насущные вопросы.

Возможно, старый Маджуби почувствовал мое настроение. Так или иначе, в его отношении ко мне все чаще стало сквозить раздражение. Когда бы я ни пришел в Маро (а я по-прежнему делаю это каждый день из чувства долга), он ни разу не упустил случая ехидно прокомментировать мое появление. И надо сказать, эти шуточные комментарии далеко не всегда отличались добродушием, хотя тогда, возможно, кое-кто этого еще и не понимал.

– Вот снова идет наш месье кюре! – возвещал старик со своим ужасным акцентом. – У вас что, на том берегу свои грешники кончились? Или вы решили наконец-то к нам присоединиться? Скажите, вы уже научились курить *киф*? Или у вас свои курительные смеси имеются?

И все это, несомненно, самым добродушным тоном; однако я постоянно чувствовал в этой его манере некий вызов, мальчишескую задиристость. У старого Маджуби, разумеется, тут же нашлись последователи; они стали вторить ему, и прежде чем я успел что-то понять, буквально в течение двух-трех дней Маро превратился для меня во враждебную территорию.

Итак... когда обстановка все-таки стала меняться? В точности это сказать невозможно. Так однажды невзначай посмотревшись в зеркало и вдруг заметишь первые признаки грядущей старости: морщинки в уголках глаз, складки у рта, которые словно стирают прежние очертания губ и подбородка. В Маро, конечно, появлялись новые обитатели, но их было немного; и в самой общине, конечно, возникали какие-то трения – но с первого взгляда ничего особенного; во всяком случае, ничего такого, что оправдывало бы мое растущее беспокойство. Но, видимо, хватало и этого. Маро, точно при смене времен года, тоже постепенно менял краски. Большинство девочек стали ходить в черном и кутаться в *хиджаб* – это такой платок, очень похожий на монашеский апостольник, который полностью скрывает волосы и шею. Прекратились кофейные утреники у Каро Клермон. Первой перестала посещать эти посиделки одна из постоянных посетительниц, а уж потом и остальные стали приходить все реже. Зато Саид Маджуби расширил свой спортзал на бульваре Пти Багдад, что оказалось совсем не сложно; собственно, зал и раньше представлял собой весьма просторное и почти пустое помещение, где имелись не только беговые дорожки, но и другие тренажеры, в том числе снаряды для силовых упражнений, а также спа-бассейн. Вскоре этот спортзал стал для молодежи, проживающей в Маро, излюбленным местом встреч.

С тех пор минуло более пяти лет. Мусульманская община в Маро постепенно разрасталась. Там появилось немало новых людей – в основном родственники старых семейств, приехавшие из-за границы. В прошлом году внучка старого Маджуби Соня вышла замуж за человека по имени Карим Беншарки, который не так давно приехал в Ланскне со своей вдовствующей сестрой и ее ребенком. Отец Сони, Саид Маджуби, искренне восхищался Каримом, который был на двенадцать лет старше своей юной жены; по слухам, в Алжире у Карима имелся неплохой бизнес – он торговал одеждой и текстильными изделиями. У меня же этот брак особого восторга не вызывал. Я знал Соню с раннего детства – не то чтобы хорошо, но мы довольно часто беседовали. И она сама, и ее сестра Алиса были девочками смывшлыми, сильно опережавшими в развитии многих сверстниц; по выходным они даже в футбол играли с нашими мальчишками – с Люком Клермоном и его приятелями. Но, выйдя замуж, Соня чрезвычайно переменилась: стала носить только черное, забросила учебу и больше не помышляла о даль-

нейшем образовании. Я видел ее пару недель назад – она что-то покупала на рынке, с головы до ног закутанная в черное покрывало; но это, несомненно, была она.

С нею были муж и золовка; рядом с ними она выглядела совсем ребенком.

Я знаю, что ты хочешь сказать, отец мой. И ты прав: мне действительно не должно быть никакого дела до мусульманской общины Маро. Пусть этими *maghrebins* руководит их имам, Мохаммед Маджуби. Но мысль о Соне просто из головы у меня не шла. Ведь в последнее время эта девочка переменялась просто до неузнаваемости! А вот ее младшая сестра осталась прежней – хотя футбольные матчи и для нее остались в прошлом. На Соню же мне просто больно было смотреть.

К тому времени и у меня начались неприятности. Кое-кто из прихожан стал жаловаться, что мои проповеди имеют не тот тон и не ту направленность, что они скучны и старомодны. Луи Ашрон, видно, затаил на меня обиду за то, как я обошелся с его сыном (я схватил мальчишку за ухо – ему тогда было всего шестнадцать – и заставил соскрести с только что оштукатуренной стены спортзала ту гадость, которой он эту стену украсил: ухмыляющуюся рожу и свастику; вот с тех самых пор вся семья Ашрон и точит на меня зуб).

Сам Ашрон, будучи бухгалтером, не раз состоял в различных комиссиях, которые возглавляла Каро Клермон; он также неоднократно работал и с Жоржем Клермоном. Ашроны и Клермоны, можно сказать, дружили семьями, да и сыновья у них были почти ровесниками. И вот, сговорившись между собой, они убедили нашего епископа, что именно мои старомодные воззрения послужили причиной трений, возникших между жителями Ланскне и Маро. Они даже рискнули вслух высказать глупейшее предположение, что я веду некую *междоусобную войну* против старого Маджуби и его мечети.

Клермоны и Ашроны стали ездить к мессе во Флориан, где служил новый молодой священник, отец Анри Леметр, стремительно обретавший все большую популярность. Довольно скоро я понял, что Каро, некогда одна из самых преданных моих последовательниц, переметнулась в лагерь отца Анри, подпав под его обаяние, и теперь втайне, но весьма энергично ведет кампанию за мое смещение.

А однажды, примерно полгода назад, я, как обычно, отправился на утреннюю прогулку по Маро и вдруг заметил нечто необычное: у мечети, построенной старым Маджуби, неведомым образом появился минарет!

Разумеется, действовать столь нахраписто во Франции не принято. Подобную выходку вполне можно было бы счесть бессмысленной провокацией. Но дело в том, что в старой дубильне имелась большая дымовая труба – кирпичная, квадратного сечения, футов двадцать в высоту и футов шесть в ширину. И вот теперь эту трубу вместе со всей дубильней привели в полный порядок – побелили и украсили серебряным месяцем. Этот месяц так и сверкал передо мной в лучах утреннего солнца, а до ушей моих доносились некие совсем уж фантастические звуки: чей-то голос, усиленный широченным дымоходом, выпевал на арабском языке *Азаан*, традиционный призыв к молитве.

*Allahu Akbar, Allahu Akbar*¹⁹...

Согласно французским законам, любой призыв к молитве должен осуществляться *исключительно внутри* того или иного помещения и без помощи каких бы то ни было усилителей. Дымоход в старой дубильне был снабжен внутренней лесенкой, и муэдзин, призывавший обитателей Маро к молитве, вполне мог ею воспользоваться, не говоря уж о естественных акустических свойствах «минарета». Таким образом, старый Маджуби вроде бы и подчинился *букве* закона, но мне стало совершенно ясно: с его стороны это самый настоящий и вполне осознанный вызов. Роль муэдзина чаще всего исполнял Саид. И отныне призыв мусульман к молитве эхом разносился не только по всем уголкам Маро, но и мы в Ланскне слышали его пять раз

¹⁹ Аллах велик (арабск.).

на дню. Когда *Азаан* словно наплывает на нас с того берега реки, я порой ловлю себя на том, что мне хочется немедленно начать громко звонить в церковный колокол, словно соревнуясь с воплями муэдзина, – да простит меня за это Господь.

Примерно в тот же период произошло и еще одно событие: в бывшую шоколадную лавку переехала *эта женщина*, сестра Карима Беншарки, со своей дочерью, девочкой лет одиннадцати-двенадцати. Казалось бы, от них нет никакого беспокойства, и все же беспокойство словно следовало за ними по пятам. Внешне, впрочем, ничего заметно не было. Никаких неприятных случаев, никаких ссор. Я, разумеется, зашел к ним, желая представиться и предложить поддержку, если она им понадобится. Но *эта женщина* едва соизволила рот раскрыть. Так и стояла, потупив глаза и с ног до головы закутавшись в черное покрывало. В общем, догадавшись, что моя помощь не только не нужна, но и нежелательна, я оставил ее в покое. Собственно, эта особа вполне ясно дала понять, что с такими людьми, *как я*, она не желает иметь никаких отношений.

Но я никогда не забывал с ней поздороваться, если нам случалось столкнуться на улице, а вот она ни разу даже не кивнула мне в ответ, ни разу ни одним жестом не показала, что заметила приветствие. Что же касается девочки, то ее я видел крайне редко. Маленькая, худенькая, из-под головного платка смотрят огромные глаза. Раза два я пытался заговорить с ней, но она, как и ее мать, ни разу мне не ответила.

И мне осталось только наблюдать за ними через площадь – в точности как восемь лет назад, когда в нашем городе появилась Вианн Роше. Однако я все же ожидал, что со временем сумею найти разгадку некоторых неожиданных поступков этой женщины.

Почему она съехала от брата? Почему перебралась сюда и почему предпочитает жить вдали от мусульманской общины Маро?

Но женщина в черном так себя ничем и не выдала. В бывшую шоколадную лавку не поставляли никаких товаров; там ни разу не появились ни торговцы, ни рабочие; там даже родственники ее не бывали. Хотя кое-кто все же ее посещал – но исключительно женщины и исключительно *maghrebines* с детьми. Собственно, женщины там никогда особенно не задерживались, а вот дети – исключительно девочки – частенько оставались у нее на весь день; их порой собиралось там больше дюжины. Я, разумеется, никого толком узнать не мог – ни среди матерей, ни среди дочерей. В этих черных одеяниях и покрывалах они все на одно лицо. Лишь через некоторое время я догадался, что она открыла школу для девочек.

Французские школы – по крайней мере, государственные – действуют на строго светской основе. Никакого религиозного уклона, никаких молитв, никаких символов веры любого сорта. Такие девочки, как Соня и Алиса Маджуби, вполне успешно сосуществовали с этим законом. У других это не получалось; мне, например, было совершенно ясно, почему Захра Аль-Джерба так и не окончила среднюю школу: она вынуждена была остаться дома и помогать матери по хозяйству. Крошечная, по сути дела деревенская, начальная школа Ланскне сумела как-то приспособиться к мусульманским обычаям, но в более крупных городах вроде Ажена проблема мусульманских головных платков, *хиджабов*, всегда стояла гораздо острее. И теперь, похоже, жители Маро нашли решение.

Большинство учениц новой школы одевались одинаково: с головы до ног в черном, волосы закрыты платком – просто какие-то маленькие вдовы, постаревшие, не успев повзрослеть. При любой попытке с ними заговорить они застенчиво отворачивались и опускали глаза. Правда, *хиджабы* свои девочки повязывали по-разному: кто-то стягивал концы сзади узлом, а кто-то закалывал булавкой; некоторые весьма искусно драпировали головной платок вокруг узла волос, прихотливо уложенных на затылке; иные же надевали *хиджаб* как апостольник, так что видимой оставалась лишь маленькая часть лица.

Сами девочки никогда, разумеется, со мной не заговаривали, но некоторые с любопытством посматривали на церковь с белеными стенами, на ее высокий шпиль, на статую Пресвя-

той Девы, склонившую голову у главного входа; и я вдруг подумал о том, как редко мы теперь видим *тамошних* детей на *нашем* берегу реки. Не прошло и трех месяцев с момента открытия школы, а я уже насчитал по крайней мере пятнадцать учениц в возрасте от десяти до шестнадцати лет – все они обычно одной компанией переходили по мосту через реку, направляясь в Ланскне, весело болтали и хихикали, прикрывая рот ладошкой.

К этому времени жизнь в Маро так и кипела – население увеличилось человек на сто пятьдесят, а то и больше: марокканцы, алжирцы, тунисцы, берберы. Полторы сотни человек – сущая ерунда, конечно, если иметь в виду Париж или Марсель, но у нас, в Ланскне-су-Танн, и коренных-то жителей всего раза в два больше.

Но почему все эти *maghrebins* устремились именно в Ланскне? Ни в одном из соседних с нами селений подобных этнических общин нет. Возможно, все дело в мечети; или в этой маленькой школе для девочек; или же в том, что главная улица Маро согласно плану подлежит переустройству и дальнейшему развитию. Так или иначе, менее чем за восемь лет арабские поселенцы размножились у нас, как одуванчики весной, превратив Маро из одной-единственной цветной странички в книге нашей жизни в целую главу, написанную к тому же на иностранном языке.

И вот теперь я наблюдаю за тем, как воспринимает все это Вианн Роше. Узкие улочки Ланскне мало изменились за последние двести лет, зато все остальное стало иным. И первое, что поражает приехавшего сюда человека, – это запах ладана, смешанный с запахом неведомых ароматных благовоний и специй. В Маро между балконами натянуты веревки, на которых сушится белье; на верандах сидят мужчины в длинных рубашах и *такийях*, шапочках для молитвы; они курят *киф* и пьют зеленый чай. Но женщин среди них не увидишь. Женщины чаще всего остаются в доме; на улицах мы теперь видим их очень редко, почти все они носят черное. Тамошние дети тоже держатся обособленно; мальчики играют в футбол или купаются в реке; девочки помогают матерям по хозяйству, присматривают за малышами или, собравшись на улице тесной группкой, болтают и хихикают, но, завидев меня, мгновенно умолкают. Отчуждение я чувствую почти физически – в последнее время особенно – и полагаю, что виной тому деревенские сплетники, которые после пожара в шоколадной лавке с особым усердием принялись молотить языками.

Проходя мимо лавчонок, выстроившихся вдоль бульвара, мы обнаружили, что все они заперты, а витрины закрыты ставнями. Было уже без четверти восемь; горячий ветер, дувший весь день, улегся, и в темно-голубом небе вспыхнули первые звезды; лишь у самого горизонта на западе сияла последняя ярко-желтая полоска заката.

Я знал, что сейчас *оно* начнется; так и произошло. Призыв к молитве прозвучал словно издалека, но слышен был весьма отчетливо. Он доносился из горла старой кирпичной трубы: *Allahu Akbar...*

Да, *разумеется*, я прекрасно знаю, что означают эти слова. Неужели ты, отец мой, мог предположить, что я, будучи католиком, о других верованиях и понятия не имею? Я знал, что еще мгновение – и улицы заполнятся мужчинами, идущими в мечеть, а женщины по большей части останутся дома готовить ужин. И как только взойдет луна, начнется очередной пир; подадут традиционные кушанья – продукты для них специально привозят с далекой родины; это и разнообразные свежие фрукты, и орехи, и сушеные фиги, и мелкое, очень сухое печенье.

Сегодня пятый день месяца рамадана; весь этот месяц мусульмане соблюдают пост. Прожить такой долгий день без еды – это одно, но гораздо труднее обходиться весь день без воды, тем более при такой жаре, как сегодня, когда жестокий, обжигающий ветер сметает все на своем пути, все обесцвечивает, делает белесым, пересохшим...

Какая-то женщина пересекла улицу прямо перед нами; следом за ней шла девочка. Лица ее я разглядеть не успел, ибо она тут же отвернулась, но ее выдали руки в черных перчатках. Да, это была она, та самая женщина в черном, что поселилась в бывшей *chocolaterie*. Впервые

после того пожара, чуть не пожравшего весь дом, мне довелось ее увидеть, и я обрадовался этой встрече: мне хотелось убедиться, что о ней есть кому позаботиться.

– Мадам, – сказал я, галантно поклонившись, – надеюсь, у вас все в порядке...

Но она на меня даже не взглянула. Как всегда, с головы до ног закутанная в черное покрывало, она оставила у себя на лице лишь узкую щель – точно в почтовом ящике; видимо, туда мне и следовало опустить сочувственные слова. Девочка тоже вела себя так, словно меня не слышит, и лишь глубже прятала голову под складки *хиджаба*, полагая, что так оно безопасней.

– Если вам понадобится помощь... – безнадежно продолжал я, но женщина уже не слушала; пройдя мимо меня, она нырнула в переулок. К этому времени муэдзин уже перестал завывать, и бульвар быстро заполняла толпа верующих, направлявшихся в мечеть.

Одного из них я узнал. Уже на пороге мечети он остановился и обернулся; это был Саид Маджуби, старший сын старого Маджуби и владелец пресловутого спортзала. Саиду было чуть больше сорока. Он носил бороду и традиционную длинную рубаху, а на голове – шапочку. Улыбался он крайне редко; вот и теперь он смотрел на меня без улыбки. Я поздоровался и поднял в знак приветствия руку.

Он не ответил. Несколько мгновений он просто смотрел на меня, потом двинулся к нам с важным видом на негнувшихся ногах – точно петух, готовый к драке.

– Что вы здесь делаете? – раздраженно спросил он.

Я был удивлен этим вопросом и сказал, пожав плечами:

– Я здесь живу.

– Вы живете за рекой! – возразил Саид. – И если желаете себе добра, так там, за рекой, и оставайтесь!

Услышав, что Саид говорит на повышенных тонах, рядом остановились еще двое мужчин. Они тут же заговорили с Саидом по-арабски – по-моему, это больше всего было похоже на торопливый стук пишущей машинки; во всяком случае, для меня в этих звуках не содержалось ни малейшего смысла.

– Не понимаю, – сказал я Саиду.

Он лишь мрачно на меня глянул и еще что-то сказал по-арабски. Успевшая собраться вокруг нас кучка мужчин выразила ему одобрение точно таким же стуком пишущей машинки. А сам Саид вдруг шагнул к нам, и я почти физически ощутил бушевавшую в нем ярость. Теперь арабская речь звучала совсем враждебно, даже агрессивно. Смешно, но я вдруг отчетливо почувствовал, что Саид вот-вот меня ударит.

И тут вперед вышла Вианн. Я в этот момент о ней почти позабыл. Анук настороженно следила за происходящим, стоя у матери за спиной. Розетт играла в ближайшем переулке – охотилась на тени.

Я хотел сказать Вианн, чтобы она лучше держалась в стороне – Саид был настолько разгневан, что вряд ли его остановило бы, что рядом женщина с двумя детьми, – однако именно ее присутствие, как ни странно, его и утихомирило. Не сказав ни единого слова, не выказав ни малейшего намерения хотя бы коснуться его, Вианн лишь слегка шевельнула пальцами – это был какой-то неведомый мне умиротворяющий жест, – и Саид вдруг осторожно отступил от нее на шаг; судя по лицу, он был явно смущен.

Неужели он понял свою ошибку?

Или она что-то ему шепнула?

Если и шепнула, то я ничего не расслышал. Так или иначе, атмосфера, явно грозившая насилием, разрядилась. Инцидент – если он *вообще* имел место – был исчерпан.

– Пожалуй, нам следует поскорее уйти отсюда, – сказал я Вианн. – Простите. Не надо мне было вас сюда приводить.

Она улыбнулась.

– Разве это *вы* меня сюда привели? Вспомните: ведь это я захотела посмотреть, в каком состоянии домик Арманды.

Да, конечно. Я и забыл.

– Он давно пустует, – сказал я. – Но по-прежнему принадлежит этому мальчику, Люку Клермону. Люк так и не захотел его продавать; с другой стороны, сам он, по-моему, там жить не собирается.

Вианн задумчиво посмотрела на меня и спросила:

– Как вы думаете, он позволит нам несколько дней пожить там? Мы, разумеется, сами обо всем позаботимся, и в доме все приберем, и сад приведем в по-рядок...

Я пожал плечами.

– Наверное, позволит. Однако...

– Вот и хорошо, – тут же сказала она.

Просто решила – и все. Словно никуда и вовсе не уезжала. Я не выдержал и улыбнулся – а я совсем не из тех, кто так уж часто и легко улыбается.

– Вы, по крайней мере, хоть на дом сперва посмотрите, – сказал я ей. – Может, он совсем развалился?

– Он не развалился, – сказала она.

Я, собственно, и сам так думал. Люк Клермон никогда бы не допустил, чтобы дом его любимой бабушки превратился в руины. Мне оставалось только покориться.

– Арманда обычно оставляла ключи от входной двери под цветочным горшком во дворе. Возможно, они и теперь там лежат, – сказал я.

Я отнюдь не был уверен, что стоит поощрять желание Вианн Роше «несколько дней пожить» в Ланскне, но оказался не в силах противиться тайной надежде на то, что она, возможно, останется здесь навсегда.

Ее мои слова, похоже, ничуть не удивили. Возможно, вся ее жизнь складывается именно так: решения всех бед и проблем всегда находятся сами и сами предлагают себя – как и люди, что стремятся завоевать ее расположение. Вот только мои нынешние беды и проблемы чересчур запутанны; они похожи на комок колючей проволоки, внутри которого я оказался: стоит чуть шевельнуться, и тут же поранишься в кровь. И возможно, подумал я, первые кровавые раны я получу уже во время этой маленькой интерлюдии. Да, пожалуй, это вполне возможно.

А Вианн Роше вдруг улыбнулась и сказала:

– Теперь еще один, последний вопрос...

Я лишь молча вздохнул.

– Любите ли вы персики?

Глава одиннадцатая

Воскресенье, 15 августа

Les Marauds. Вот где начинаются все беды. Именно в Маро все и началось. Именно в Маро я впервые встретила с Армандой, проходя мимо ее маленького домика. Именно оттуда для жителей Ланскне *всегда* проистекают всякие неприятности: там причаливают к берегу Танн суденышки речных крыс; там в зарослях прибрежного тростника моя Анук любила играть с Пантуфлем. Именно сюда Арманда *велела* мне приехать снова, если, конечно, я ее тогда правильно поняла.

Там, под стеной моего дома, раньше росло персиковое дерево. Если вы приедете летом, то персики наверняка уже созреют, и их нужно будет собрать.

Дерево стояло на прежнем месте – старое персиковое дерево с затвердевшими от старости ветвями, с длинными узкими, как кинжал, опаленными солнцем листочками. И Арманда оказалась права – персики совершенно созрели. Я сорвала три штуки, еще теплые от солнца и покрытые нежным пушком, точно головка младенца. Один персик я протянула Анук, второй – Розетт. А третий персик предложила Рейно.

Все вокруг было окутано ароматом персиков, и от этого немного сонного, свойственного концу лета аромата в воздухе словно возникало золотистое свечение, похожее на отблеск заката. Маленький домик Арманды стоит очень удачно, на пригорке, чуть в стороне от Маро, и оттуда открывается чудный вид на реку; вот и сейчас было видно, как огни бульвара отражались в воде, точно рой светлячков. Со стороны Маро доносились негромкие вечерние звуки: людские голоса, стук кастрюль и сковородок, смех детей, игравших где-то на заднем дворе, пение сверчков, кваканье лягушек у самой воды, а вот птицы уже умолкли.

Анук отыскала ключ от двери – он был именно там, где Арманда всегда его оставляла; впрочем, дверь оказалась незапертой, в Ланскне вообще редко запирают двери. Газ и электричество были, разумеется, отключены, но на кухне имелась дровяная плита – на случай, если бы нам захотелось приготовить себе поесть, – а у задней стены дома виднелась аккуратно сложенная поленница. В шкафу я нашла и постельное белье, и теплые шерстяные одеяла лимонного, розового, ванильного и голубого цветов. В спальне стояла широкая двуспальная кровать Арманды, в комнатке наверху имелся раскладной диван, а в гостиной – широкая софа. Мне не раз приходилось ночевать и в куда худших условиях.

– А здесь здорово! – сказала Анук.

– Бам! – весело поддержала ее Розетт.

– Раз так – решено, – кивнула я. – Сегодня мы, так или иначе, переночуем здесь, а с Люком встретимся и поговорим завтра утром.

Рейно все еще топтался рядом, по-прежнему держа в руке персик, и выглядел довольно нелепо. По его скованной манере чувствовалось, что его представления о приличиях никогда бы не позволили ему переночевать в *чужом*, пусть даже пустующем, доме, не получив официального разрешения хозяина; он бы, наверное, скорее лег спать в придорожной канаве. Что же касается сорванных мною персиков, то он, несомненно, считал, что эти персики я попросту *украдала*; во всяком случае, он смотрел на меня с тем же замешательством, с каким, должно быть, Адам смотрел на Еву, когда та вручила ему запретный плод.

– Может быть, вы все-таки съедите этот персик? – с улыбкой спросила я.

Анук и Розетт давно уже свои слопали, смачно чавкая, и я вдруг подумала: а ведь мне лишь раз довелось видеть, как Рейно что-то ест, – для него процесс поглощения пищи слишком сложен, и его в не меньшей степени следует бояться, чем наслаждаться им.

– Послушайте, мадемуазель Роше...

– Прошу вас, – остановила я его, – называйте меня просто Вианн.

Он откашлялся и сказал:

– Я ценю вашу деликатность, ведь вы так и не задали мне самого очевидного вопроса. И все же вам, по-моему, следует знать, что я освобожден от должности священнослужителя Ланскне до окончания судебного расследования по делу пожара в вашей старой *chocolaterie*. В настоящее время я ожидаю дальнейших указаний епископа. – Он перевел дух и продолжил: – Разумеется, я не вижу необходимости убеждать вас в том, что я ни в коей мере не несу ответственности за этот пожар. Я не был арестован. И обвинение мне предъявлено не было. Но из полиции ко мне приходили. И задавали разные вопросы. А для человека, занимающего такое положение, как я...

Я отлично могла себе все это представить; особенно «приятно» беседовать с полицейскими, когда знаешь, что за тобой подсматривают в каждую щель между ставнями. Разумеется, все сплетники Ланскне разом сорвались с поводка, а их злые языки обрели новую силу. Магазин наполовину сгорел и теперь был вряд ли пригоден для использования. Пожарная машина опоздала на целый час. Зато вскоре прибыла полицейская машина и припарковалась прямо возле церкви. А может – что куда хуже, – перед тем небольшим коттеджем, где живет Рейно; там, на аккуратных клумбах у крыльца, всегда цветут яркие бархатцы.

Коттедж, разумеется, принадлежит церкви, а вот за бархатцы отвечает сам Рейно. На мой взгляд, они очень похожи на одуванчики, но для него между ними бездна различий: одуванчики он считает пронырливыми сорными травами-захватчиками, а бархатцы – очаровательными садовыми цветочками, которые умеют расти правильными рядками, по-военному.

– Вам вовсе не нужно было говорить мне это. Я и так знаю, что никакого пожара вы не устраивали.

У него даже губы дрогнули.

– Если бы все разделяли подобную уверенность! Каро Клермон тут же, как сумасшедшая, бросилась распространять слухи о моей виновности, но при этом продолжала делать вид, что очень мне сочувствует. Хотя теперь каждое слово моего последователя она буквально на лету ловит.

– Вашего *последователя*?

– Ну да. Это отец Анри Леметр, новый любимец нашего епископа. Весьма зубастый выскочка, чрезвычайно энергичный и питающий настоящую страсть к современным электронным устройствам. – Рейно пожал плечами. – Теперь мое увольнение – только вопрос времени. Вы же знаете, как это у нас в Ланскне бывает.

О да, я хорошо это знаю. Я и сама была объектом яростных сплетен и слухов, и мне известно, с какой скоростью они распространяются. И я прекрасно понимаю, что в таком городке даже намек на скандал, связанный с местным священником, не останется без самого пристального внимания. Католической церкви в последнее время и без того приходится разбираться с огромным количеством скандальных происшествий, так что, даже если у полиции и нет никаких улик против Рейно, ему, скорее всего, грозит приговор от лица общественности.

Рейно снова тяжело вздохнул и сказал:

– Мадемуазель Роше, если уж вы соберетесь на какое-то время у нас задержаться, то, возможно, вам захочется поведать о своих... *сомнениях* в моей виновности кому-то из ваших здешних друзей; прежде всего тем, кто, по-моему, также считает эту ситуацию нелепой. Например, Жозефина и Нарсис...

Он резко оборвал себя. Отвернулся. А я смотрела на него со все возрастающим удивлением. Ледяная четкость речи и ясность мыслей были по-прежнему вполне ему свойственны, но стоило взглянуть на его лицо, и никаких сомнений не оставалось: Франсис Рейно – пусть не прямо, пусть страшно стесняясь – просил о помощи!

Я с трудом могла себе представить, как он на это решился, ведь ему безумно трудно было просить об этом, тем более меня. Безумно трудно после всего, что здесь случилось, признаться себе, что ему необходим и еще кто-то – тем более такой человек, как я...

Мир Рейно – черно-белый. Он полагает, что в таком свете вещи становятся проще. На самом деле его черно-белые представления обо всем только ожесточают сердца, только укрепляют предубеждения и мешают хорошим, в общем, людям понять, какой вред они творят. И если случается нечто, что бросает вызов мировосприятию таких, как Рейно, тогда все эти черно-белые образы словно расплываются, приобретая совсем иной цвет – миллион различных оттенков серого; а подобные Рейно люди утрачивают почву под ногами и тщетно барахтаются, хватаясь за любую соломинку и пытаясь вырваться из лап урагана.

– Извините, – сказал мне Франсис Рейно. – Что вы-то, собственно, можете тут поделать? Забудьте, пожалуйста, что я осмелился просить вас об этом.

Я улыбнулась.

– Конечно, я вам помогу! – воскликнула я. – Если смогу. И при одном непременном условии...

Он недоуменно на меня посмотрел:

– При каком условии?

– Если вы, Христа ради, съедите наконец этот персик!

Первая лунная четверть

Глава первая

Понедельник, 16 августа

Люк забежал утром – Рейно сказал ему, где мы остановились, – и застал нас за завтраком: персики и горячий шоколад. Для сервировки стола мы воспользовались разномастной посудой Арманды; правда, со старинными, расписанными вручную чашками из тончайшего фарфора, прозрачного, как человеческая кожа, со слегка выщербленными позолоченными краями совершенно не сочетались традиционные изделия здешней местности, расположенной между реками Жер и Танн, притоками более мощной Гаронны. На миске Анук был нарисован кролик; на миске Розетт – выводок цыплят. А на моей красовались цветы и кудрявыми буквами было написано имя: *Сильви-Анн*²⁰.

Может, это какая-то родственница Арманды? Миска выглядела достаточно старой. Сестра, кузина, дочь, тетя? Интересно, каково было бы держать в руках миску или чашку с написанным на ней *моим настоящим* именем, которую подарили бы мне, скажем, мать или бабушка? Впрочем, какое имя могло бы быть на ней написано? Скажи, Арманда? Которое из великого множества моих имен?

– Вианн!

Этот возглас, раздавшийся из раскрытой двери, резко вернул меня к действительности. Тембр голоса у Люка стал иным, более низким, и он, похоже, совсем перестал заикаться, хотя в детстве очень страдал от этого. Но в целом все тот же – те же темные волосы падают на глаза, та же улыбка, одновременно и открытая, и немного коварная.

Он сперва обнял меня, потом Анук и с искренним любопытством уставился на Розетт, которая приветствовала его оскаленными зубами и резким обезьяньим кличем – *чак-чакк!* Это сперва его озадачило, но затем он расхохотался и сказал:

– Я тут вам кое-что из еды притащил, хотя вы, похоже, уже позавтракали.

– Это обманчивое впечатление, – сказала я с улыбкой. – Здешний воздух невероятно возбуждает ап-петит.

Люк просиял и вручил мне пакет со свежими круассанами и *pains au chocolat*²¹.

– Поскольку это я виноват в том, что вы сюда приехали, – сказал он, – распоряжайтесь здесь, как у себя дома, и живите, сколько хотите. Бабушка была бы очень довольна.

Я спросила, как он намерен поступить с домом, став его законным владельцем, но он лишь плечами пожал.

– Я еще и сам не знаю... может, буду тут жить. Но это, если мои родители... – Он не договорил. – Вы, конечно, слышали о пожаре в вашей *chocolaterie*?

Я кивнула.

– Подобные вещи случаются сплошь и рядом, – сказал он, – но моя мама считает, что это не просто несчастный случай. Она уверена, что пожар устроил Рейно.

– Вот как? – сказала я. – А сам ты что думаешь?

Я хорошо помнила Каро Клермон, одну из самых ярких католичек в Ланскне. Свой неукротимый дух она всегда подпитывала за счет всевозможных местных скандалов и драм. Легко можно себе представить, с каким тайным ликованием она приветствовала обрушив-

²⁰ Настоящее имя Вианн Роше было Сильвиан Кайю – об этом подробно рассказано в романе Дж. Харрис «Леденцовые туфельки».

²¹ Популярные во Франции булочки с шоколадной на-чинкой.

шийся на Рейно позор; как умело регулировала слухи, прячась за весьма экстравагантными проявлениями показного сочувствия.

Люк пожал плечами:

– Ну, Рейно я никогда особенно не любил. Только вряд ли это его рук дело. То есть я что хочу сказать: он всегда такой холодный, словно застывший, у него даже шея, по-моему, толком не гнется, но он никогда бы ничего подобного не сделал.

Люк, безусловно, принадлежал к меньшинству. Еще вчера, не успев приехать, мы успели услышать больше десятка различных версий возникновения того пожара. От Нарсиса, который принес нам овощи из своей лавки; от булочника Пуату; от учительницы Жолин Дру, которая заглянула к нам вместе с сыном. А сегодня, похоже, весь Ланскне решил пройти через Маро – правда, за одним удивительным исключением, – поскольку весть о нашем появлении ветер разнес по городу, точно семена одуванчика.

Вианн Роше вернулась. Вианн Роше наконец-то снова дома...

Но это же просто бред! У меня уже *есть* дом. И он совсем в другом месте – мой дом стоит на причале у набережной Сены близ Елисейских Полей. И я уже никак не могу считаться здешней; впрочем, я не считалась здешней и восемь лет назад, когда мы с Анук впервые сюда приехали. И все же...

– Это было бы совсем нетрудно, – уверял меня Гийом. – Вашу бывшую *chocolaterie* вполне можно привести в порядок. Там и нужно-то всего краской немного мазнуть. А мы все с удовольствием помогли бы вам...

Я заметила, как при этих словах вспыхнули глаза Анук.

– Вам бы посмотреть на наш плавающий дом в Париже, – сказала я Гийому. – Он стоит прямо под мостом Искусств. А Сена по утрам вся затянута туманом, почти как Танн. – Глаза Анук тут же погасли, и она спрятала их меж длинными ресницами. – Вы бы, Гийом, как-нибудь приехали в Париж, навестили нас.

– О нет, для Парижа я уже слишком стар, – улыбнулся он. – А Пэтч²² привык ездить только первым классом.

Гийом Дюплесси – один из тех, кто не верит в виновность Рейно.

– Это просто злобные слухи, – говорит он. – С какой стати Рейно поджигать какую-то школу?

А вот Жолин Дру уверена, что знает, с какой стати.

– Это все из-за *нее*, – сказала она. – Из-за той женщины в *бурнусе*. Из-за той женщины в черном.

Анук и Розетт, вооружившись двумя старыми вениками, выбивали во дворе ковер, и Жанно, сын Жолин, к ним присоединился – он был примерно ровесником Анук, и я хорошо помнила, как он забегал в нашу старую *chocolaterie*. Тогда Жанно и Анук были добрыми друзьями, несмотря на весьма непростой, даже склочный характер его матери.

– А кто она такая? – спросила я.

Жолин дугой изогнула бровь.

– Вроде бы вдова. Сестра Карима Беншарки. Я хорошо знаю Карима – это очень приятный человек; работает в спортзале Маро. А вот она совсем другая. Агрессивная. Всех сторонит. Говорят, ее муж не умер, а просто с ней развелся.

– То есть вы этого наверняка не знаете?

Жолин – одна из самых неутомимых сплетниц Ланскне. Мне было трудно поверить, что она не приложила максимум усилий, чтобы выяснить об этой женщине все до мельчайших подробностей, стоило той появиться в городе.

Жолин пожала плечами.

²² Patch (англ.) – заплатка, пятно неправильной формы.

– Да нет, вы не поняли. Она же никогда ни с кем не говорит. Она вообще не такая, как остальные *maghrebins*. Я не знаю даже, говорит ли она по-французски.

– И вы никогда не пытались это выяснить?

– Это не так-то просто, – сказала Жолин. – Как можно завести разговор с человеком, который никогда не показывает своего лица? У нас обычно были вполне дружеские отношения с женщинами из Маро. Например, Каро Клермон часто приглашала их к себе на чай. Многие считают нас просто деревенскими жителями, а на самом деле у нас тут *такое смешение культур*! Вы представляете, Вианн, я даже начала есть кускус. Он страшно полезен, знаете ли, и от него, оказывается, совсем не полнеешь.

Я скрыла улыбку. Жолин Дру и Каро Клермон искренне считают, что можно приобщиться к чужой культуре, например начав есть кускус. Представляю себе эти чаепития у Каро; эти разговоры, эти печеньки, этот фарфор, серебряные ложечки, изысканные канапе. И *доброджелательные* дискуссии, имеющие целью достигнуть *entente cordiale*. Я даже поморщилась при мысли об этом.

– И что же случилось теперь? – спросила я.

Жолин надула губки.

– Они попросту перестали приходить – особенно после того, как эта женщина переехала сюда. От нее вообще одни неприятности! Она повсюду ходит, с головы до ног закутавшись в свое покрывало; вечно с закрытым лицом, так что от одного ее появления людям становится не по себе. Эти женщины вообще только и делают, что друг с другом соперничают. И, разумеется, все они тут же принялись носить эту дурацкую чадру – прямо как помешательство на модной новинке! Ну, может, чадру надели и не *совсем* все, но почти. И, между прочим, это покрывало мужчин прямо-таки с ума сводит. Они только и думают, что там, под ним. А воображение у них работает безостановочно. Ну и Рейно, разумеется, это не нравилось. Он раньше-то всегда слишком цеплялся за прошлое. Он понятия не имеет, что значит жить в *мультикультурной* Франции. Вы, наверно, уже слышали, какой шум он поднял из-за мечети? А потом из-за минарета? А уж когда та женщина открыла свою школу... – Жолин тряхнула головой. – В общем, тогда он, должно быть, совсем спятил. А больше мне и прибавить-то нечего. И потом, это ведь уже не в первый раз он...

– Сколько же учениц было в этой школе? – с трудом остановила я словесный поток.

– Ну, что-нибудь около дюжины. Бог знает, чему она их там учила! – Жолин раздраженно дернула плечиком. – Эти, в *бурнуссах*, с нами смешиваться не желают. Считают, что наши вольные нравы способны их развратить.

«А может, их просто тошнит от вашей снисходительной опеки и непонимания?» – подумала я, но вслух этого говорить не стала.

– У нее, кажется, дочка есть? – спросила я.

Жолин кивнула.

– Да, бедная девочка! Никогда ни с кем из наших детей не играет. Никогда ни с кем не разговаривает.

Я выглянула в окно: Анук и Жанно с упоением «сражались на мечях», используя ручки от метел, а Розетт улюлюканьем подбадривала обоих. При нашей жизни, которая столько лет была связана с бесконечными странствиями и переездами с места на место, мы с Анук имели немало возможностей общения с представителями самых различных рас и народов; во всяком случае, сталкивались с ними гораздо чаще, чем кто бы то ни было в Ланскне, и научились видеть несколько глубже тех культурных наслоений, под которыми прячемся сами. Например, *никаб* – который Жолин неправильно именует «бурнусом» – это всего лишь один из таких слоев. Собственно, это просто кусок ткани, но в глазах таких людей, как Жолин, *никаб* способен превратить самую обыкновенную женщину в объект подозрительный и пугающий. Даже

Гийом, человек весьма толерантный, почти ничего не сумел сказать в защиту той, что поселилась в нашей бывшей *chocolaterie*.

– Я всегда приподнимаю шляпу, когда с ней встречаюсь, – обиженно сказал он, – меня с детства к этому приучили. Но *она* никогда даже «здравствуйте» не скажет в ответ! Никогда даже глаз на меня не поднимет! Это же просто невоспитанность, мадам Роше, элементарная невоспитанность! Мне совершенно все равно, кто она такая, я со всеми стараюсь вести себя вежливо. Но когда на тебя даже *смотреть не желают...*

Я понимаю. Это, должно быть, очень неприятно. Но я не чувствую в своей душе морального превосходства. Столько лет я убегала от Черного Человека, помня только страх моей матери и то, что в черной сутане воплощена некая враждебная вера. Столько лет я, как и Гийом, как и все здесь, была ослеплена собственными предрассудками. И только теперь я действительно узрела истину; поняла, что мой Черный Человек – это просто человек и он столь же уязвим, как любой другой. Разве отношение Ланскне к этой Женщине в Черном чем-то отличается от моего прежнего страха перед тем Черным Человеком? А что, если эта женщина просто прячется под своим черным покрывалом и так же, как и Рейно, нуждается в помощи?

Глава вторая

Понедельник, 16 августа

Наконец-то спустился вечер. Небо из арбузно-красного стало темно-синим, точно бархатная внутренность шкатулки с драгоценностями. Из Маро доносился тоскливый клич муэдзина. И почти сразу на другом берегу реки, в Ланскне, зазвонили церковные колокола, возвещая окончание мессы. В течение минувшего дня нас уже успели пригласить к обеду человек десять, уверяя, что члены их семей прямо-таки жаждут с нами пообщаться, но нам ни с кем общаться что-то не хотелось: Розетт уже наполовину спала, а Анук снова прилипла к своему айподу. К вечеру они обе выглядели измученными. Возможно, подействовал свежий воздух, а также перемена обстановки, встречи с друзьями, поток визитеров. Ужин я приготовила очень простой: оливки, хлеб, фрукты, сыр и салат из листьев одуванчика, сдобренный желтыми цветками настурции. За ужином мы в основном молчали, слушая звуки ночи, доносившиеся из открытого окна, – пение сверчков, звон церковных колоколов, голоса лягушек и вечерних птиц; этим звукам вторил стук старых настенных часов Арманды с желтым, как пергамент, и будто ухмыляющимся циферблатом. Я заметила, что Розетт совсем ничего не ест, просто развлекается, раскладывая оливки по краям тарелки в прихотливом орнаменте.

– В чем дело, Розетт? Ты разве не голодна?

– Она скучает по Ру, – пояснила Анук.

– *Рур*, – похоронным тоном откликнулась Розетт.

– Ничего, мы с ним скоро увидимся. А здесь тебе точно понравится, – сказала Анук, обнимая ее. И посмотрела на меня. – Жозефина так и не пришла. Я думала, она первая прибежит поздороваться.

Она была права. Я тоже это заметила. Разумеется, кафе открыто весь день, и Жозефина, должно быть, просто не сумела вырваться. Но все же, по-моему, она могла бы забежать к нам хоть на минутку – скажем, в обеденный перерыв. Возможно, правда, ей просто не хотелось столкнуться с людьми типа Каро и Жолин, которые только и ищут, на что бы поглазеть и о чем бы посплетничать. А может, у нее сегодня просто не хватало рабочих рук и она постоянно была занята? Или, может, собиралась заглянуть к нам после закрытия кафе? Надеюсь, что так. Ведь из всех тех, с кем мы восемь лет назад расстались, уехав из Ланскне, я больше всего скучала именно по Жозефине – мне не хватало ее эмоциональности, ее выразительных глаз и прямо-таки написанного у нее на лице стоического неповиновения.

– Ничего, мы сами к ней завтра сходим, – пообещала я Анук. – Возможно, сегодня она просто была слишком занята.

Мы в молчании довершили ужин. Анук и Розетт отправились спать, а я осталась одна со стаканом красного вина и размышлениями о том, чем в данный момент может быть занят Рейно. Представляла себе, как он в своем маленьком домике следит за гаснущими лучами заката и слушает звон колоколов в церкви, где служит мессу его соперник. Но все это время меня никак не покидала какая-то странная тревога; в итоге я открыла дверь и вышла на улицу.

Там пахло пылью и персиками. В розмарине у зеленой изгороди пели сверчки. В этой части города нет уличных фонарей, но небо, которое так толком и не потемнело, давало достаточно света, чтобы я смогла различить тропинку, ведущую к мосту и дальше в Ланскне.

Спускаясь с пригорка, я видела, как постепенно оживает Маро. Сквозь закрытые ставни пробивались полосы света; люди ходили по улице – кто-то шел домой, кто-то в гости; из открытых кухонных дверей доносился запах специй, готовящейся пищи, благовоний. Все это невероятно отличалось от обстановки, что царила здесь всего несколько часов назад: отупляющая ровная жара, настороженная, бдительная тишина, изредка попадающиеся женщины в *хиджабах* и *абайях* поверх обычной одежды и бородатые мужчины в длинных белых рубахах. Теперь

отовсюду доносились голоса, смех, звуки праздничного застолья. В рамадан дни кажутся особенно долгими. Под вечер даже самая простая трапеза воспринимается как пиршество, а каждый стакан воды – как благословение. Поужинав, люди принимаются рассказывать истории, играть в разные игры. Дети в такие вечера ложатся спать очень поздно.

Маленькая девочка в желтой тунике-камизе перебежала через бульвар, размахивая тонкой длинной тросточкой, издававшей резкий жужжащий звук. Я сразу узнала местную забаву: к палочке на длинной нитке был привязан крупный летающий жук, превращенный в подобие погремушки.

Кто-то окликнул девочку по-арабски. Она что-то протестующе крикнула в ответ, и на улицу вышла девушка в темно-синем *кафтане*. Девочка нехотя оставила палочку с привязанным к ней жуком на обочине и следом за девушкой ушла в дом. А я продолжила свою неторопливую прогулку по Маро, двигаясь по направлению к реке. Мост, соединяющий этот район с остальным Ланскне, находится как бы на перекрестке; именно там когда-то располагались дубильные мастерские, именно там теперь высится местная мечеть. На обоих берегах реки еще виднеются полуразрушенные стены старой *bastide*, словно напоминая возможным захватчикам, что Ланскне всегда готов за себя постоять.

Мост каменный, довольно низкий; река разрезает городок на две половинки, как фрукт. Зимой, после дождей, вода в Танн поднимается очень высоко, так что проплыть под мостом можно разве что на плоскодонке. А к осени, особенно если лето выдалось жарким, река иногда почти совсем пересыхает; на становящихся необычайно широкими берегах, покрытых грубым крупным песком, лишь кое-где виднеются тонкие ручейки проток. Но сейчас река пребывала в наилучшей своей форме, идеальной и для купания, и для плавания на речных судах.

И это заставило меня в очередной раз задуматься: почему же все-таки Ру не захотел поехать с нами? После того как мы с Анук уехали из Ланскне, он прожил здесь еще четыре года; так почему же сейчас он предпочел остаться в Париже? Ведь он так любит эти места? Неужели лучше торчать в раскаленном городе на Сене, когда зеленые берега Танн так и манят к себе? И я знаю, что Розетт очень по нему скучает... Мы с Анук тоже, разумеется, по нему скучаем, но Розетт тоскует как-то особенно, нам обоим этого не понять. У нее, конечно, есть еще Бам – он, кстати, в отсутствие Ру стал виден гораздо отчетливей; вон он сидит на стуле рядом с Анук, и его изогнутый хвост в желтом свете керосиновой лампы похож на сверкающий рыжий вопросительный знак.

Ру, почему же ты все-таки с нами не поехал?

Ру не любит технологические новинки, но я ухитрилась убедить его хотя бы носить мобильный телефон с собой – раз уж сам он им толком *не пользуется*. И сейчас я в очередной раз попыталась ему позвонить, но, как и следовало ожидать, его телефон был выключен. Я послала ему эсэмэс:

Прибыли благополучно. Живем в старом домике Арманды. Все хорошо, но есть кое-какие перемены. Возможно, пробудем здесь еще несколько дней. Мы все по тебе скучаем. Очень тебя люблю. В.

Уже само это действие – посылка эсэмэс домой – сделало Ру еще более далеким. Домой? Неужели теперь *там* мой дом? Я посмотрела за реку, на Ланскне; на его тусклые фонари, кривые улочки, церковную колокольню, такую белую в сумерках. А по другую сторону моста виднелся Маро, куда более темный, поскольку там улицы освещены только тем светом, что падает из окон домов; но башня минарета, украшенная серебряным полумесяцем, словно бросала вызов церкви, что высится на площади Сен-Жером подобно поднятой руке со сжатым кулаком.

А ведь было время, когда мне казалось, что мой дом *здесь*, что я вполне могла бы навсегда остаться в Ланскне. Даже сейчас слово «дом» пробуждает воспоминания о нашем магазинчике, о комнатках наверху, о спальне Анук на чердаке, где вместо двери был люк в полу, а окошко – круглым, как иллюминатор. И душа моя сейчас словно разрывается надвое, чего не

было никогда; одна ее половина принадлежит Ру и тому, что с ним связано, а вторая – Ланскне и тому, что связано с этим городком. Возможно, это ощущение обостряет еще то, что и сам Ланскне как был разделен между двумя мирами – первый из них новый, современный, мультикультурный, а второй настолько консервативен, насколько может быть консервативна только сельская провинциальная Франция; и я отлично понимаю, что...

А что, собственно, я тут делаю? – вдруг встрепенулась я. – Зачем я открыла эту шкатулку Пандоры, полную неуверенности и смятения? В письме Арманды ясно говорилось: кому-то в Ланскне нужна моя помощь. Но кто он, этот человек? Франсис Рейно? Или Женщина в Черном? А может, Жозефина? Или я сама?

Тропинка, по которой я побрела назад, снова привела меня к дому, из которого вышла девушка в темно-синем кафтане. Палка с жуком-пленником по-прежнему лежала на обочине. Я освободила жука, и он сердито на меня пожужжал, прежде чем улететь прочь. Я выпрямилась и немного постояла, глядя на дом.

Как и почти все строения в Маро, он был довольно приземистый, двухэтажный, стены отчасти из дерева, отчасти из желтого кирпича. Похоже, раньше это вообще были два отдельных домика, которые затем соединили вместе. Дверь и ставни были выкрашены зеленой краской, а на подоконниках виднелись ящики с цветущими красными геранями; оттуда доносились голоса, смех, разговоры и отчетливый запах готовящейся пищи, специй, мяты. Я уже двинулась дальше, когда дверь дома вновь приоткрылась; оттуда стрелой вылетела та же девочка в желтой *камизе*, но, увидев незнакомку, тут же остановилась и уставилась на меня своими ясными глазами. Ей было, наверное, лет пять или шесть – еще слишком мала, чтобы носить головной платок, – и волосы были заплетены в косички, перевязанные желтыми ленточками. На худеньком запястье болтался золотой браслет.

– Привет, – поздоровалась я.

Девочка продолжала молча смотреть на меня.

– Боюсь, я виновата перед тобой; это я отпустила твоего жука на волю. – Я глазами указала на останки валявшейся на земле игрушки. – Он что-то совсем загрустил – это ведь так ужасно, когда тебя все время держат на привязи. Впрочем, завтра ты сможешь снова его поймать. Если, конечно, он сам захочет с тобой играть.

Я улыбнулась, но девочка не ответила на улыбку и по-прежнему молчала, не сводя с меня глаз. «Интересно, а она меня понимает?» – подумала я. В Париже я встречала немало арабских девочек того же возраста, что Розетт, и они обычно знали в лучшем случае пару слов по-французски, хотя даже родились в этом городе. Обычно, впрочем, они более-менее овладевали французским языком к концу начальной школы; а вот в среднюю школу многие знакомые мне семьи своих дочерей отдавали весьма неохотно – порой из-за запрета на ношение головных платков, а порой просто потому, что дома была нужна их помощь.

– Как тебя зовут? – спросила я, и она ответила:

– Майя. – Так, значит, она все-таки меня *понимала*!

– Ну что ж, приятно с тобой познакомиться, Майя, – сказала я. – А меня зовут Вианн. Я живу вон в том доме на пригорке вместе с моими двумя девочками.

Я указала ей на старый дом Арманды.

На лице Майи отразилось сомнение.

– Вон в том доме?

– Да. Он принадлежал моему старому другу Арманде. – Чувствовалось, впрочем, что это ее не убедило, и я спросила: – А твоя мама любит персики?

Майя слегка кивнула.

– Ну так вот: возле дома моей подруги Арманды растет персиковое дерево, и на нем полно персиков. Завтра, если хочешь, я сорву несколько штук и принесу твоей маме, чтобы вы их съели во время *iftar*²³.

Это арабское слово заставило Майю улыбнуться.

– Ты знаешь, что такое *iftar*?

– Конечно, знаю.

Мы с матерью однажды довольно долго прожили в Танжере. Место во многих отношениях сложное, полное противоречий. Пища и рецепты ее приготовления всегда служили для меня средством взаимопонимания с окружающими. А в таких местах, как Танжер, еда зачастую была для нас единственным языком общения.

– Вот как вы сегодня вечером, например, будете выходить из поста? – спросила я. – Сварите суп *харисса*? Я его просто обожаю.

Улыбка Майи стала еще шире.

– Я тоже, – сказала она. – А Оми испечет лепешки. Она один секрет знает, и у нее самые лучшие лепешки в мире получаются!

Внезапно зеленая дверь снова открылась, и женский голос что-то резко сказал Майе по-арабски. Девочка, похоже, собралась запротестовать, потом все же неохотно вернулась в дом. На пороге на мгновение возникла женская фигура, закутанная в черное покрывало, и дверь тут же с грохотом захлопнулась – я так и осталась стоять с поднятой в приветственном жесте рукой, не успев даже понять, видела меня эта женщина или нет.

Хотя в одном я была совершенно уверена: это была та самая женщина в *никабе*, которую я видела возле церкви в день своего приезда, а потом еще раз в Маро. Сестра Карима Беншарки – ее настоящего имени, похоже, так никто толком и не знал. Загадочная женщина, тень которой так велика, что накрывает собой сразу две, столь различные между собой, общины...

Когда я шла домой по берегу Танн, тишина и спокойствие вокруг казались почти неестественными. Умолкли даже сверчки, даже птицы, даже лягушки.

В такие вечера, как этот, местные жители говорят: вот-вот подует ветер Отан²⁴; *le vent des Fous*, Ветер Безумия, который стучится в окна домов, иссушает хлеба в поле, лишает людей сна. Белый Отан приносит сухую жару; Черный Отан приносит бурю и дождь. И в какую бы сторону этот ветер ни дул, он вскоре все равно переменится.

Что я, собственно, делаю в Ланскне? Я снова и снова задавала себе этот вопрос. Неужели это Отан принес меня сюда? И каким он будет на этот раз? Белым, который всю ночь не дает тебе уснуть, или Черным, который попросту сводит тебя с ума?

²³ Разговление вечером, после целого дня поста в рамадан (арабск.).

²⁴ Autan (фр.) – южный ветер; vent d'autan – буря.

Глава третья

Вторник, 17 августа

Благослови меня, отец мой, ибо я согрешил. Увы, тебя больше нет с нами, но мне необходимо перед кем-то исповедаться, а идти на исповедь к нашему новому священнику – отцу Анри Леметру с его голубыми джинсами, выцветшей улыбкой и новыми идеями – я никак не могу. Впрочем, как и к нашему епископу. Он уже и не сомневается, что поджог устроил именно я. Нет, будь я проклят, но перед этими людьми, отец мой, я никогда не преклоню колен!

Разумеется, ты прав: гордыня – вот мой главный грех. Я и сам всегда это понимал. Но я твердо знаю: отец Анри Леметр разорит, уничтожит церковь Святого Иеронима, а я просто не в силах стоять и смотреть, как он это делает! Боже мой, он и так уже использует усилители, читая проповеди, а вместо нашего органиста посадил Люси Левалуа, она у него в церкви на гитаре играет! В результате, как и следовало ожидать, популярность отца Анри и нашей церкви невероятно возросла – никогда еще церковь Святого Иеронима не посещало так много людей из других селений, – и все же хотелось бы знать, что ты-то, отец, об этом думаешь, ты ведь всегда был так строг и суров.

Наш епископ, впрочем, считает, что в наши дни церковная служба должна скорее развлекать, чем проявлять строгость. *Мы должны чем-то привлечь молодежь*, говорит он. Собственно, ему и самому-то всего тридцать восемь, на семь лет меньше, чем мне; из-под сутаны у него выглядывают модные «найки». Отец Анри Леметр – его протеже и, разумеется, прав абсолютно во всем, так что епископ вполне одобрительно отнесся к намерению отца Анри модернизировать нашу церковь: установить усилители, плазменные экраны, заменить старинные дубовые скамьи чем-нибудь «более подходящим». Видимо, он считает, что резной дуб плохо сочетается с электронными гаджетами.

Но даже если сам я и попытаюсь как-то противостоять столь кощунственным действиям, все равно неизбежно окажусь в меньшинстве. Каро Клермон уже несколько лет жалуется, что церковные скамьи и чересчур узкие, и чересчур жесткие (чего не скажешь о самой Каро), и чересчур неудобные. Разумеется, если скамьи все-таки уберут из церкви, муж Каро Жорж первым приберет их к рукам, быстренько их отреставрирует и продаст в Бордо по абсурдно вздутой цене каким-нибудь богатым туристам, которые ищут, чем бы таким «очаровательно аутентичным» украсить свои загородные дома.

Как же тут не сердиться, отец мой, ведь я всю жизнь отдал Ланскне! А в итоге меня вот-вот вышвырнут отсюда. Да еще и по такой позорной причине...

И снова все нити тянутся к этой проклятой лавчонке, к этой *chocolaterie*! И отчего это место так притягивает всякие неприятности и беды? Сперва там появилась Вианн Роше, затем сестрица этого Беншарки, но даже и теперь, когда это помещение, опустошенное пожаром, пустует, оно каким-то неведомым образом *стремится* спровоцировать мое падение. Епископ говорит, что *не сомневается* в моей непричастности к этому пожару. Лицемер! Заметь, он и не думает говорить, что *уверен* в моей невиновности. На самом деле – и это весьма разумно с его стороны – эти слова означают примерно следующее: каким бы ни был конечный результат расследования, так или иначе я буду скомпрометирован, и, значит, придется сменить приход, перебраться в такое место, где о моем прошлом ничего не известно...

Да будь она проклята, эта его снисходительность! Я никогда не позволю убрать меня вот так, втихую! Я и мысли не могу допустить, что после всего сделанного мною для прихожан Ланскне здесь не найдется *никого*, кто верил бы в меня по-прежнему. Значит, я непременно должен найти выход из создавшейся ситуации. Должен совершить нечто такое, что позволило бы мне хотя бы частично отвоевать прежнее доверие паствы и доброжелательное отношение

обитателей Маро. Все попытки поговорить с ними, как-то объясниться закончились неудачей; что ж, наверное, мне пора переходить к действиям и реально защищать себя.

Вот почему сегодня утром я решил вернуться на площадь Сен-Жером и постараться хоть как-то привести в порядок бывшую *chocolaterie*. Пожар не нанес помещению особого ущерба; там требуется, пожалуй, лишь тщательная уборка; ну, и еще хорошо бы на крыше в нескольких местах положить новую черепицу, заменить несколько балок и половых досок, кое-где подправить штукатурку и заново покрасить стены – и комнаты будут выглядеть как новые. Примерно так мне казалось; и потом, я надеялся, что люди, увидев, что я начал ремонт, присоединятся ко мне и помогут навести полный порядок.

Я провозился часа четыре, у меня уже болело все тело, но помощи мне никто так и не предложил; даже слова никто не сказал, хотя напротив – булочная Пуату, а чуть дальше по улице – кафе «Маро». Да что там, никто мне даже попить не принес, несмотря на чудовищную, всесокрушающую жару. И тогда, отец мой, я начал понимать: это и есть наказание, ниспосланное мне, – нет, не за пожар, а за мою самонадеянную уверенность в том, что я смогу вернуть уважение паствы, демонстрируя собственное смирение.

После второго завтрака, примерно в полдень, булочная закрылась; выбеленная солнцем площадь была пустынна и безмолвна. Только тень от колокольни Сен-Жером давала какое-то отдохновение от палящего солнца, и я, таская из внутреннего помещения на тротуар обгорелый хлам, каждый раз на минутку задерживался в этой тени, а потом подходил к фонтану и делал несколько глотков воды.

– Что это вы делаете? – услышал я чей-то голос и выпрямился.

Боже милостивый! Как раз один из тех, с кем я предпочел бы *не встречаться*. Правда, от самого юного Люка Клермона я никаких неприятностей не жду, но ведь он все расскажет матери, и, разумеется, для меня было бы куда лучше, если бы Люк увидел целую толпу дружелюбно настроенных людей, вместе со мной бодро расчищавших жилище этой Беншарки. Но я был один и в таком виде – измученный, грязный, исцарапанный и... никому не нужный; и окружали меня только груды мусора и обгоревшие обломки.

– Да так, ничего особенного. – Я все-таки сумел улыбнуться ему в ответ. – Мне подумалось, что нам стоило бы проявить солидарность. Разве можно допустить, чтобы женщина с ребенком вернулась в *такое* жилище... – И я указал на обуглившуюся дверь и груды почерневшего хлама за нею.

Люк осторожно на меня глянул. Возможно, зря я все-таки ему улыбался. И я уже без улыбки пояснил:

– Ну, если честно, то мне от одного вида этого дома становится не по себе. Тем более, насколько я знаю, полдеревни считает, что в случившемся виноват именно я.

Полдеревни? Если бы! Да для того, чтобы пересчитать тех, кто в данный момент хоть как-то меня поддерживает, и на одной руке пальцев хватит.

– Я вам сейчас помогу, – сказал Люк. – Мне все равно делать нечего.

Естественно, занятия в университете начнутся только в конце сентября. Насколько я помню, Люк изучает французскую литературу, и это очень не нравится Каро. Интересно, почему это ему захотелось мне помочь? Он ведь меня всегда недолюбливал – даже в те времена, когда его мать была одной из самых преданных моих последовательниц.

– Я схожу на лесопилку и пригоню грузовичок, – продолжал Люк, указывая на груды мусора, – и мы сперва уберем все это, а потом уж будем вместе решать, что тут еще можно сделать.

Что ж, я находился не в том положении, чтобы отказываться от помощи. В конце концов, именно моя гордыня и завлекла меня в эту западню. Я поблагодарил Люка и снова принялся за работу. Мусора в помещении оказалось гораздо больше, чем я думал, но к концу дня мы вместе Люком все же сумели освободить от него весь первый этаж.

Зазвонили колокола, призывая народ к мессе. Тени на площади стали длиннее. Отец Анри Леметр, выглядевший так, словно только что покинул специальный холодильник, предназначенный исключительно для священников, ленивой походкой вышел из церкви и направился к нам – сутана отлично отглажена, на голове модная молодежная стрижка, свежайший воротничок лишь чуть светлее его ослепительно-белых зубов.

– Франсис! – Я ненавижу, когда он меня так называет, и в ответ одарил его самой дипломатичной своей улыбкой. – Как это замечательно! Только зачем же вы в одиночку предприняли столько усилий? – Он сказал это таким тоном, словно я все делал исключительно для него. – Что же вы утром ничего мне не сказали? Я бы бросил клич после мессы... – Можно подумать, что он и сам был бы страшно рад мне помочь, но, увы, тяжкое бремя забот о *моем* приходе, возложенное на его плечи, не позволило ему этого. – Кстати о мессе... – Он критически оглядел меня, потного и грязного, с головы до ног и спросил: – Вы сегодня вечером случайно не собираетесь в церковь? У меня в ризнице есть запасная сутана, и я бы с удовольствием ссудил ее вам, если...

– Нет, спасибо.

– Я всего лишь заметил, что вы перестали ходить к мессе, не причащаетесь и не исповедуетесь с тех пор, как...

– Благодарю вас. Я приму это к сведению.

Да разве я смогу принять из его рук гостию? А что касается исповеди... Отец мой, я знаю, так говорить грешно, но ей-богу, тот день, когда я приму от него епитимью, станет моим последним днем в церкви.

Отец Анри, глядя на меня с искренним сочувствием, сказал:

– Моя дверь для вас всегда открыта, – и удалился, в последний раз блеснув в улыбке белоснежными зубами – ну, точно как в рекламе зубной пасты.

А я так и остался стоять, пребывая отнюдь не в самом безмятежном расположении духа и стиснув за спиной кулаки.

На сегодня с меня было достаточно. Ничего себе денек выдался! Я поспешил домой, постаравшись убраться с площади до того, как ее заполнит толпа верующих, идущих в храм. Но звон колоколов продолжал преследовать меня до самого дома, к тому же, поднявшись на крыльцо, я увидел, что кто-то разрисовал мою парадную дверь черной краской из баллончика. Похоже, это сделали совсем недавно: в теплом воздухе еще чувствовался сильный запах краски.

Я огляделся, но никого не увидел, кроме троих мальчишек-подростков на горных велосипедах, быстро удалявшихся по направлению к дальнему концу улицы. Один из них был в длинной свободной белой рубашке, какие носят арабы, двое других – в майках и джинсах; головы у всех троих были повязаны клетчатыми шарфами-«арафатками». Заметив меня, они на полной скорости свернули в переулок, ведущий в сторону Маро, что-то выкрикнув по-арабски. Я этого языка не знаю, но по интонациям и гнусному смеху вполне можно было догадаться, что это были отнюдь не комплименты в мой адрес.

Я мог бы, конечно, последовать за ними. Наверное, мне даже следовало так поступить. Но я слишком устал, и – честно признаюсь, отец мой, – мне стало немного страшно. В общем, я вошел в дом, закрыл за собой дверь, принял душ, налил себе пива и заставил себя съесть хотя бы один сэндвич.

Но в открытое окно по-прежнему был слышен звон колоколов, а с того берега колоколам вторил клич муэдзина, повисший над рекой в вечернем воздухе, как лента дыма. Да, я *действительно* с удовольствием помолился бы, но отчего-то единственное, о чем я мог думать, это Арманда Вуазен с ее острым взглядом черных глаз, с ее дерзкой манерой вести себя; и я чувствовал, что она с удовольствием и от души посмеялась бы надо всем этим. Возможно, она меня видит оттуда. Меня почему-то ужаснула эта мысль. И, чтобы не думать, я налил себе еще

пива и стал смотреть, как за рекой догорает закат, а на востоке над Ланскне восходит тонкий месяц.

Глава четвертая

Вторник, 17 августа

Сегодня утром мы с Розетт пошли выяснять, что случилось с Жозефиной. В Маро были закрыты все магазины – магазин одежды, бакалейная лавка, магазин тканей, где их продавали рулонами, – но рядом в маленьком кафе мы заметили мрачного вида мужчину в белой *джеллабе* и молитвенной шапочке *такийе*. Он протирал столы, но, заметив нас, прервал работу и буркнул:

– Мы закрыты.

Я, собственно, так и подозревала.

– А когда открываетесь?

– Позже. Вечером.

Этот тип одарил меня таким взглядом, что я сразу вспомнила Поля Мюска в те дни, когда кафе «Маро» еще принадлежало ему; это был взгляд одновременно и плотоядно-оценивающий, и странно враждебный. Затем он снова принялся протирать столы. Да уж, тут явно далеко не всякому посетителю были рады.

«Злой дядя, – с помощью жестов сообщила мне Розетт. – *Злое лицо. Идем отсюда*».

Бам виднелся как никогда отчетливо: ярко-оранжевый мазок света, следовавший за Розетт по пятам. Я заметила, что у моей дочери на лице появилось коварное выражение, и в тот же момент *такийя* уборщика соскользнула с его головы и шлепнулась на пол.

Розетт что-то тихонько пропела себе под нос.

И я краем глаза заметила, что Бам перекувырнулся в воздухе.

Я тут же поспешно взяла дочь за руку.

– Извините за беспокойство. Мы уже уходим, – сказала я. – Мы совсем другое кафе искали.

Но и добравшись наконец до кафе «Маро», мы не обнаружили там Жозефины. За стойкой бара торчала сердитая девица лет шестнадцати, которая, не отрывая глаз от телевизора, сообщила, что *мадам Бонне* уехала в Бордо, поскольку туда для них доставили целый грузовик всяких припасов, и вернется наверняка поздно.

Нет, никакой записки мадам Бонне не оставила. Даже когда эта девица посмотрела на меня, я не заметила в ее глазах ни малейшего признака узнавания или хотя бы любопытства. Впрочем, глаза она накрашила так сильно, что их вообще с трудом можно было разглядеть среди слоев разноцветных теней и комков туши. Губы у нее тоже были ярко накрашены и блестели, как засахаренные фрукты, а челюсти пребывали в постоянном, хотя и неторопливом движении – она жевала жвачку, и даже на губах виднелся бледно-розовый кружок.

– Меня зовут Вианн Роше. А как твое имя?

Она уставилась на меня, как на сумасшедшую, но все же ответила, хотя и несколько раздраженным тоном:

– Мари-Анж Люка. Я тут мадам Бонне замещаю.

– Приятно с тобой познакомиться, Мари-Анж. Мне, пожалуйста, *citron pressé*²⁵. А для Розетт – *оранжину*²⁶.

Анук ушла из дома еще раньше нас – отправилась искать Жанно Дру. Я надеялась, что ей повезет больше, чем нам в поисках Жозефины, и старого друга она непременно отыщет. Я взяла стаканы и вышла на террасу (Мари-Анж и не подумала сама принести заказанные

²⁵ Лимонный сок (*фр.*).

²⁶ Апельсиновый сок с газировкой.

напитки); мы с Розетт уселись в тени акации. Перед нами расстилалась абсолютно пустынная улица, ведущая через мост в глубь Маро.

Мадам Бонне? Интересно, почему моя старая приятельница вздумала вернуть свою девичью фамилию, но зачем-то сохранила «*мадам*»? Впрочем, в Ланскне свои представления о респектабельности. Женщина тридцати пяти лет, имеющая собственный бизнес и ведущая его без помощи мужчины, никак не может быть просто «*мадемуазель*». Я еще восемь лет назад это поняла. И для здешних жителей я всегда была «*мадам Роше*».

Розетт допила свою оранжину и принялась играть с парой камешков, которые подобрала на дороге. Ей нужны сушие пустяки, чтобы развлечься; она слегка шевельнула пальцами – и камешки засияли каким-то тайным внутренним светом. Розетт нетерпеливо каркнула – и камешки принялись танцевать на столе.

– Беги, играй с Баом, – сказала я ей. – Только далеко не убегай, чтобы я всегда могла тебя видеть, хорошо?

Розетт тут же побежала к мосту, а я спокойно смотрела ей вслед, зная, что она может играть там часами. Будет бросать через парапет палки, заставляя их сворачивать поперек течения к противоположному берегу, или станет просто следить за отражением в воде облаков, проплывающих в вышине. Дрожащее марево рядом с нею обозначало присутствие Бама. Я допила свой лимонный сок и заказала еще.

В дверях кафе вдруг возник мальчик лет восьми. На нем была весьма просторная майка с изображением льва из мультфильма «Король Лев», почти полностью скрывавшая под собой его выгоревшие шорты, и кроссовки, носившие отчетливые следы недавнего купания в Танн. Светлые волосы мальчика выгорели на солнце почти добела, а глаза были голубые, как небо солнечным летним днем. В руке он держал кусок бечевки, который постепенно выползал из-за угла; на другом конце бечевки оказалась большая лохматая собака, тоже явно только что искупавшаяся в реке. Мальчик и собака с любопытством посмотрели на меня, потом вдруг разом сорвались с места и понеслись по дороге к мосту. При этом собака лаяла как сумасшедшая, а мальчик скользил, как на лыжах, поднимая своими несчастными мокрыми кроссовками целые облака плотной дорожной пыли.

Мари-Анж принесла мне второй стакан сока, и я спросила:

– А это кто?

– Это Пилу. Сын мадам Бонне.

– Ее *сын*?

Она удивленно на меня посмотрела:

– Ну да, а что?

– О, я просто не знала, – сказала я.

Она только плечами пожала, словно желая выразить этим свое полнейшее безразличие к нам обеим. А затем, прихватив пустые стаканы, снова прилипла к телевизору.

Я посмотрела в сторону моста: мальчик и его собака теперь плескались на мелководье и в дымке водяных брызг, просвеченных солнцем, казались позолоченными; светлые волосы мальчика и шерсть затрапезного вида псины так и сверкали, словно посыпанные алмазной крошкой.

Я видела, что Розетт тоже с любопытством наблюдает за ними. Она вообще-то очень общительная, моя маленькая Розетт, но в Париже предпочитает держаться особняком; другие дети не хотят с ней играть – отчасти потому, наверное, что она почти не разговаривает; а отчасти потому, что она их пугает. Я услышала, как Пилу что-то крикнул ей из-под моста, и она тут же к нему присоединилась; теперь они все втроем принялись весело плескаться в реке. В этом месте Танн совсем мелкая, и даже есть маленький песчаный пляжик, хотя песок на нем довольно крупный и грубый. Там с Розетт ничего не случится, думала я, пусть всласть поиграет

с новыми друзьями. Я неторопливо допила свой второй *citron pressé*, размышляя о том, что же случилось за эти годы с моей старой подругой.

Значит... у мадам Бонне есть сын. И кто же его отец? Она оставила девичью фамилию, значит – и это совершенно очевидно, – снова замуж она не вышла. Сегодня в кафе никого нет, кроме Мари-Анж; незаметно также, что у Жозефины есть какие-то партнеры по бизнесу. Я, конечно, утратила связь со своими здешними приятелями, переехав в Париж. Смена имен, смена образа жизни – вот и Ланскне остался далеко позади, как и многие другие места и города, которые я и не собиралась когда-либо посетить снова. Ру, который мог бы за время нашей долгой разлуки хотя бы время от времени сообщать мне о здешних новостях, писать письма никогда не умел и не любил; в лучшем случае он присылал почтовую открытку, где корявым почерком в нескольких словах сообщал, где в данный момент находится. Но после моего отъезда он прожил в Ланскне целых четыре года, и большую часть этого времени – именно в кафе у Жозефины. Я знаю, он презирает слухи и сплетни, но ведь он прекрасно знал, какими близкими подругами были мы с Жозефиной, так почему, скажите на милость, он не сообщил мне о том, что у нее родился ребенок?

Я допила сок и расплатилась. Солнце уже жарило вовсю. Розетт сейчас восемь, но она для своего возраста очень маленькая; этот мальчик, Пилу, скорее всего, несколько младше ее. Я медленно пошла по направлению к мосту, жалея, что не надела шляпу. Дети строили что-то вроде плотины поперек песчаной отмели; я слышала, как Розетт возбужденно приборматывает – *бамбаддабамбаддабам!* – а Пилу командует, явно готовясь отразить атаку пиратов:

– Вперед! На корму! Пушки к бою! *Бам!*

– Бам! – радостно вторила Розетт.

Знакомая игра; я отлично помнила, как восемь лет назад Анук точно так же играла здесь «в пиратов» вместе с Жанно Дру и другими своими приятелями.

Мальчик поднял на меня глаза, улыбнулся и спросил:

– Мадам, вы тоже *maghrebine*?

Я покачала головой.

– Но ведь она говорит не по-нашему, верно? – сказал он, поведя глазами в сторону Розетт.

Я улыбнулась и пояснила:

– Ну, не то чтобы совсем не по-нашему... Она вообще мало что говорит. Хотя все понимает, ты, наверно, и сам уже в этом убедился. Она очень даже неглупа, а кое-что умеет делать и вовсе отлично.

– А как ее зовут?

– Розетт, – сказала я. – А тебя Пилу. Вот только не пойму, от какого это имени.

– Жан-Филипп. – Он снова улыбнулся. – А это мой пес Владимир. Влад, скажи даме «здравствуйте»!

Влад гавкнул и отряхнулся, подняв над маленькой плотинкой целое облачко водяных брызг.

Розетт засмеялась и жестами сообщила мне: «Очень хорошая игра!»

– Что это она такое говорит?

– Говорит, что ты ей понравился.

– Круто!

– Значит, ты сын Жозефины, – сказала я. – А я ее старая приятельница. Меня зовут Вианн. Мы остановились в Маро, в старом домике мадам Вуазен. – Я помолчала. – Я была бы очень рада, если бы вы с мамой пришли к нам в гости. Вместе с Владом. И с твоим отцом, если он, конечно, захочет прийти.

Пилу пожал плечами.

– А у меня нет отца. – В его голосе послышался легкий вызов. – То есть, по всей очевидности, он у меня *есть*, но я...

– Но ты просто с ним не знаком?

Пилу улыбнулся.

– Да. Верно.

– Моя дочка тоже раньше часто так говорила. Моя вторая дочка. Анук.

Глаза Пилу вдруг округлились от удивления.

– Ой, а я знаю, кто вы! – воскликнул он. – Вы та самая дама из шоколадной лавки! Которая раньше всякие вкусные штуки делала! – Его улыбка стала еще шире, он даже слегка подскочил от возбуждения. – Мама все время о вас говорит. Вы тут почти что знаменитость.

Я рассмеялась.

– Ну, до знаменитости мне далеко.

– А мы теперь каждый год устраиваем тот праздник, который вы сто лет назад придумали! На Пасху. Прямо на площади перед церковью. Там устраивают танцы, ищут пасхальные яйца, вырезают всякие штуковины из шоколада – в общем, много чего.

– Правда? – удивилась я.

– Ага. Это бывает так *клево*!

Я вспомнила тот первый праздник шоколада, который сама же и устроила, – с выставленными в витрине разнообразными сладостями и написанными от руки названиями. Вспомнила, как полжизни назад шестилетняя Анук брызгалась в лужах, топая по ним в желтых резиновых сапожках; как она дула в пластмассовую трубу; как Жозефина танцевала на площади перед церковью, а Ру стоял рядом со мной, и на лице у него, как всегда, было то самое выражение – чуть сердитое, чуть застенчивое...

Мне вдруг стало не по себе.

– И мама никогда даже *не упоминала* имени твоего отца?

Он снова одарил меня своей сияющей улыбкой – точно солнечные зайчики на речной воде.

– Она сказала, что он был пиратом и плавал под парусами вниз по реке. А потом уплыл в дальние моря, и теперь он пьет там ром из кокосовых скорлупок и ищет зарытые клады. Она говорит, что я очень на него похож и, когда вырасту, тоже непременно *уберусь* из этих мест, и у меня будут свои приключения. Может, я и его тогда где-нибудь там, в дальних морях, встречу.

Теперь меня охватила настоящая тревога. Что-то уж больно похоже это звучало на те истории, которые так любит рассказывать Ру. Мне всегда казалось, что Жозефина весьма к нему равнодушна. На самом деле был момент, когда я думала, что они вполне могут влюбиться друг в друга. Но жизнь вечно путает наши планы, и даже самые дорогие наши ожидания порой не оправдываются; вот и будущее, которое я планировала для нас обоих, оказалось совсем иным.

Жозефина мечтала уехать отсюда, но так и осталась в Ланскне; я же давала себе слово, что никогда больше не вернусь в Париж, но именно в Париже я наконец обрела долгожданную передышку от скитаний. Жизнь подобна ветру и точно так же находит удовольствие в том, чтобы переместить нас в такие места, где мы меньше всего ожидали оказаться; она все время меняет направление нашего пути, и в итоге нищий обретает королевскую корону, а король лишается трона; любовь блекнет, превращаясь в равнодушие, а заклятые враги становятся закадычными друзьями и до конца дней своих идут рука об руку.

Никогда не пытайся играть с жизнью, – говорила мне мать, – потому что жизнь всегда играет нечестно, передергивает, крадет карты прямо у тебя из-под носа, а порой и вовсе делает карты пустыми...

И мне вдруг снова захотелось раскинуть те гадальные карты, что когда-то принадлежали матери. Конечно же, я, как всегда, взяла их с собой, но заветную сандаловую шкатулку не

открывала уже давно. Боюсь, я даже несколько утратила навык – а может, я совсем и *не этого* боюсь...

Вернувшись в дом Арманды – там по-прежнему стоит ее запах: пахнет лавандой, которую она всегда клала в чистое белье, и вишнями в коньяке, бутылки с которыми стройными рядами выстроились на полках в ее маленькой кладовой, – я наконец открыла материну шкатулку. Шкатулка, как всегда, пахла моей матерью – в точности как и дом Арманды пахнет его прежней хозяйкой. Такое ощущение, словно моя мать после смерти съежилась до крошечных размеров, не больше колоды карт Таро, и прячется в этой шкатулке; впрочем, голос ее звучит у меня в ушах с прежней силой.

Я перетасовала карты и разложила их на столе. Розетт все еще играла где-то неподалеку со своим новым другом Пилу. Карты были очень старые, потрепанные; гравюры отчасти стерлись из-за частого использования.

Семерка Мечей: тщета. Семерка Кругов: неудача. Королева Кубков – господи, у нее такой отрешенный вид, словно ее постигло ужасное разочарование и теперь она даже надеяться ни на что не смеет. Рыцарь Кубков – обычно это весьма динамичная карта, но она, увы, слегка пострадала от воды и покособилась, и теперь лицо рыцаря выглядит как после жуткой попойки. Кто же он, этот рыцарь? Чем-то он мне знаком. Но никакого ответа я так и не получила. Впрочем, в любом случае...

Карты легли на редкость неудачно. Я понимала, что надо их поскорее убрать. И вообще, что я, собственно, делаю в Ланскне? Я уже почти жалела, что вскрыла и прочла письмо Арманды, что Ру принес его домой, а не выбросил по дороге в Сену...

Я снова проверила мобильный телефон. От Ру – ничего. Свой телефон он, скорее всего, не только не проверял, но даже и не включал; в этом отношении на него совершенно нельзя положиться, как и в отношении писем. Но после того, что я узнала сегодня, мне было просто необходимо хотя бы услышать голос Ру. Это же нелепо, уговаривала я себя, тебе же никто и никогда *не был нужен!* Но я ничего не могла с собой поделать и думала только о том, что чем дольше пробуду в Ланскне, тем ненадежней станет та нить, что связывает меня с новой жизнью...

Разумеется, мы *могли бы* прямо сегодня же вечером уехать домой. Почему бы и нет? Это действительно очень легко сделать. Да и что, собственно, меня здесь держит? Ностальгия? Воспоминания? Горстка карт?

Нет, все это здесь ни при чем. Но тогда что?

Я снова убрала карты в шкатулку. И нечаянно уронила одну. Выскользнув у меня из рук, она упала на пол рубашкой вверх. Я перевернула ее: женщина с прялкой в руках, от которой во все стороны расходятся лунные лучи, но лицо ее скрыто в тени. Луна. Карта, которую я всегда ассоциировала с собой, но сегодня она явно обозначает кого-то другого. Возможно, мне так кажется из-за тонкого месяца у нее над головой – он так похож на тот, что украшает мечеть в Маро. А может, ее скрытое вуалью ночного мрака лицо снова напомнило мне Женщину в Черном, которую я видела лишь мельком, но тень которой так длинна, что, вызывая головокружение, простерлась через реку Танн до сердца Маро и тянет, тянет меня домой...

Домой. О, опять это слово! Но мой дом *не в Ланскне!* И все же это слово – *дом* – обладает невероятной притягательной силой. Да знаю ли я, что оно означает? Возможно, мне могла бы объяснить это Женщина в Черном – но только в том случае, если я сумею ее найти.

Анук наконец вернулась, проведя весь день с Жанно; на лице у нее сияла веселая, летняя улыбка, и нос слегка обгорел на солнце. Ладно, теперь я оставлю ее дома с Розетт, чей новый дружок уже отправился домой вместе со своей собакой. Почему-то мне кажется, что мы еще не раз увидим и Пилу, и Влада, и Жанно, причем в самое ближайшее время.

– Ну что, хорошо время провела? – спросила я у Анук.

Она кивнула; глаза у нее так и светились от счастья. Хотя волосы и глаза у моих дочерей совсем разные, сегодня Анук отчего-то была удивительно похожа на Розетт; и волосы у нее так же буйно вились из-за влажного ветра, дувшего над Танн. Я была рада, что она сумела отыскать старого друга, пусть это даже сын Жолин Дру. Я хорошо помнила тогдашнего Жанно: маленький ясноглазый мальчуган, сперва довольно робкий, но вскоре ставший верным последователем Анук в ее весьма экстравагантных играх. Его излюбленным лакомством были шоколадные мышки; он обычно засовывал их в кусок свежего багета, превращая его в *pain au chocolat*. Теперь он, пожалуй, чуть старше Анук; широкоплечий, гораздо выше своих родителей, и с виду совсем взрослый; однако иллюзия взрослости тут же исчезает, если обратить внимание на его неуклюжую походку – при ходьбе он сутулится и по-жеребьячи подпрыгивает, когда ему кажется, что его никто не видит. Хорошо, что Жанно в глубине души так и остался прежним маленьким мальчиком. Слишком многие из тех, кого я знаю, за это время успели измениться даже слишком сильно, а некоторые – и вовсе до неузнаваемости.

Церковные часы на площади Сен-Жером бьют шесть. Отличное время для визита к соседям. Мужчины еще не успеют вернуться из мечети. А женщины будут заняты подготовкой к очередному *ифтару*.

– Я хочу ненадолго выйти, прогуляться. Ничего, если ты останешься с Розетт?

Анук кивнула.

– Конечно. Заодно и обед приготовлю.

Это означало, что она снова сварит на дровяной плите пасту домашнего приготовления. У Арманды в кладовке ее запасен целый кувшин, и я стараюсь не думать, сколько лет назад она была заготовлена. Анук и Розетт очень любят пасту, пожалуй, больше всего на свете; капля оливкового масла и свежий базилик с грядки – и обе уже в восторге. В кладовке, конечно, найдутся и персики, и вишня в коньяке, и сливы от Нарсиса, и *flan au pruneaux*²⁷ от его жены, и еще несколько *galettes*, и сыр, который принес Люк...

Я посмотрела в сторону дома с зелеными ставнями. Вообще-то, я обещала Майе принести персики. Анук помогла мне сорвать несколько штук. Мы положили их в корзинку, прикрыв листьями одуванчика. Вот о таких вещах я почти позабыла, прожив восемь лет в Париже, – когда аромат персиков, только что сорванных с ветки, такой солнечный, пьянящий, смешивается с чуть горьковатым запахом одуванчика, похожим на запах пыльного тротуара после дождя. Для меня это запах детства; запах придорожных лавчонок и летних ночей.

А как насчет Женщины в Черном? Разумеется, у меня нет никаких доказательств, но я почему-то была почти уверена, что персики – это ее любимые фрукты.

Было время, когда я *всегда* могла узнать, каково любимое кушанье *каждого*. И где-то в глубине моей души эта способность все еще жива; но этот дар, который так высоко ценила моя мать, слишком часто оказывался для меня проклятием. Знание – вещь не всегда удобная. Даже власть отнюдь не всегда оказывается благом. Я усвоила этот урок четыре года назад, когда в нашу жизнь точно ураган ворвалась Зози де л'Альба в своих алых туфельках. Сейчас у меня слишком многое поставлено на кон, чтобы я могла чувствовать себя по-настоящему счастливой, скача верхом на урагане; слишком уж велика ответственность, когда читаешь письма человеческой души.

Действительно ли мне следует всем этим заниматься? Да и смогу ли я что-то здесь изменить? А что, если Женщина в Черном окажется той самой, предназначенной для меня, черной пиньтой, битком набитой словами, которые лучше оставить непрочитанными, или историями, которые лучше сохранить в тайне?

²⁷ Пирожное с черносливом (*фр.*).

Глава пятая

Вторник, 17 августа

Я ожидала, что найду Женщину в Черном именно в доме с зелеными ставнями, но дверь мне открыла какая-то пожилая женщина. Далеко за шестьдесят, круглолицая, полная; из-под свободно повязанного *хиджаба* выбилась прядь густых седых волос. Женщину, казалось, несколько удивило мое появление – похоже, в первые минуты она посматривала на меня даже слегка подозрительно, – но когда я вручила ей корзинку с персиками и сказала, что вчера вечером познакомилась с Майей и пообещала принести фрукты к *ифтару*, на лице седовласой марокканки расплылась широкая улыбка.

– Ох уж эта малышка! – воскликнула она. – Вечно с ней всякие истории приключаются. Уж такая проказница! – В ее словах чувствовалась та готовность простить любую шалость, которая позволительна только бабушке.

Я улыбнулась.

– У меня тоже есть маленькая девочка. Розетт. Вы, возможно, скоро ее увидите. А еще у меня есть Ануk. Меня вы можете звать просто Вианн.

Я протянула ей руку, и она слегка пожала кончики моих пальцев – это в Танжере считается вежливым рукопожатием.

– А где ваш муж?

– В Париже, – сказала я. – Мы всего на несколько дней сюда приехали.

Она сказала, что ее зовут Фатима, а ее мужа – Медхи Аль-Джерба. Я вспомнила, хотя и довольно смутно, что это имя упоминал Рейно, потчует меня разными историями в день моего приезда. Я также постепенно вспомнила, что у них вроде бы есть какой-то магазин, что живут они в Маро уже почти восемь лет, что сам Медхи родился в старом Марселе и любит порой пропустить стаканчик вина...

Фатима жестом пригласила меня войти.

– Пожалуйста, проходите в дом, выпейте чаю...

Я покачала головой.

– Мне бы не хотелось вам мешать. Я же знаю, как вы сейчас заняты. Я ведь зашла только поздороваться и передать обещанные персики. У нас их даже чересчур много, так что...

– Входите, входите, – приговаривала Фатима. – Я всего лишь еду готовлю. Сейчас я вас кое-чем угощу, может, вы и домой, деткам, отнесете. Вам марокканская кухня нравится?

Я сказала, что в юности полгода прожила в Тан-жере.

Ее улыбка стала еще шире.

– У меня получается самая лучшая *халва чебакийя*. С мятным чаем, а? А может, вы и с собой немного взять захотите.

От такого предложения отказаться нельзя. Это я знаю по опыту. Годы наших с матерью странствий научили меня тому, что еда – это своего рода универсальный паспорт. Какие бы сложности ни возникли в плане языка, культурных разногласий или географических сложностей, еда способна преодолеть все на свете. Предложить человеку пищу значит протянуть руку дружбы; принять пищу значит быть принятым в любую, даже самую замкнутую общину. Интересно, а Франсис Рейно когда-нибудь задумывается о подобных вещах? Насколько я его знаю, вряд ли. У Рейно могут быть самые лучшие намерения, но он не из тех, кто станет покупать у арабов *халву чебакийя* или пить мятный чай в маленьком кафе на углу бульвара Пти Багдад.

Я последовала за Фатимой в дом, не забыв, разумеется, снять у порога туфли. В доме царил приятная прохлада; пахло миндальными пирожными; ставни, похоже, держали закрытыми с самого утра, чтобы предохранить помещение от жарких солнечных лучей. Из-за двери на кухню доносились смешанные ароматы пищи – аниса, миндаля, розовой воды и мелкого

турецкого горошка, готовящегося с куркумой и рубленой мятой; а еще пахло гренками с кардамоном, чудесной *халвой чебакийя* и сладким хрустящим печеньем из сезама, сильно обжаренным в масле; это замечательное печенье, такое крошечное, что его ничего не стоит сунуть в рот целиком, и легкое, как лепестки цветов; его очень вкусно запивать мятным чаем...

– Да уж, от этого я отказаться не в силах и с удовольствием возьму немножко домой, – сказала я, когда Фатима все-таки усадила меня и заставила выпить чаю с этими сладкими жареными «лепестками». – Нет, прошу вас, не кладите так много! Вы же наверняка все это к *ифтару* приготовили.

– О, у нас очень много всего! – замахала руками Фатима. – У нас все в семье готовить любят и на кухне всегда друг другу помогают...

Она распахнула кухонную дверь, и я увидела перед собой тесный полукруг женщин, на лицах которых было написано откровенное любопытство. А нет ли среди них Женщины в Черном, подумала я и почти сразу отбросила эту мысль: нет, ее здесь быть не может, здесь живет настоящая дружная семья, это же сразу видно.

На кухне я заметила и Майю, которая, устроившись на маленькой табуретке, помогала чистить стручки окры двум молодым женщинам лет тридцати – видимо, дочерям Фатимы. Одна из этих женщин была вся в черном; ее волосы и шея были тщательно прикрыты *хиджабом*. На второй тоже был *хиджаб*, но одета она была в джинсы и шелковую *камизу*.

На стуле за дверью сидела крошечная, очень древняя старушка, которая внимательно смотрела на меня круглыми, как у птицы, глазами, прямо-таки тонувшими в глубоких морщинах. Ей было никак не меньше девяноста; ее все еще красивые, но совершенно белые волосы были заплетены в длинную косу, несколько раз обернутую вокруг головы; желтый головной платок сполз и свободно болтался на шее. Лицо старушки напоминало высохший, сморщенный персик, а руки – когтистые куриные лапки. Но стоило мне войти, как именно она первой нарушила царившую там тишину, что-то пронзительно каркнув по-арабски.

– Это моя свекровь, – сказала Фатима и улыбнулась с тем же извиняющимся выражением лица, какое у нее появлялось, когда она говорила о Майе. – Ну, Оми, поздоровайся с нашей гостьей.

Оми Аль-Джерба глянула на меня так, что я, как ни странно, сразу же вспомнила об Арманде.

– Смотри, она нам персики принесла, – сказала ей Фатима.

Карканье сменилось трескучим смехом, и Оми потребовала:

– Дай-ка поглядеть.

Фатима протянула ей корзинку.

– М-м-м, – мечтательно промычала Оми и улыбнулась мне беззубым, как у черепахи, ртом. – Как это приятно! Можешь приходить к нам еще. Разве я могу разжевать ту ерунду, которую здесь подают, – этот их дурацкий миндаль, финики и тому подобное? Моя невестка, видно, пытается голодом меня уморить. *Инишалла*²⁸, ей это не удастся! Я еще всех вас переживу!

Майя рассмеялась, захлопала в ладоши, и Оми тут же сделала вид, что сердится на нее, и даже слегка зарычала. А Фатима, улыбнувшись так, словно слышала все это уже тысячу раз, сказала:

– Видите, каково мне с ними? – Потом, указав на молодых женщин, она представила их: – А это мои дочери, Захра и Ясмينا. Ясмينا замужем за Исмаилом Маджуби. А Майя – их дочка.

Я улыбнулась обеим женщинам, и Захра – в черных одеждах и черном *хиджабе* – тоже робко улыбнулась мне в ответ. А с ее сестрой Ясминой мы просто пожали друг другу руки. Сестры были очень похожи, хоть и одеты по-разному. На минутку мне даже показалось, что

²⁸ Хвала Аллаху! (*арабск.*)

Захра и есть та самая Женщина в Черном. Но я тут же поняла, что ошиблась: женщина, которую я видела тогда на площади – и позже, у дверей этого дома, – была значительно выше ростом и, пожалуй, старше. Кроме того, насколько я успела заметить, она была гораздо изящней Захры; это ощущалось даже под ее бесформенным одеянием; по всей видимости, она была настоящей красавицей.

Я сумела вспомнить кое-какие известные мне арабские слова и сказала:

– *Jazak Allah*²⁹.

Женщины удивленно на меня посмотрели, потом довольно заулыбались, и Захра прошептала вежливый ответ. А Майя снова громко расхохоталась и захлопала в ладоши.

– Майя! – одернула ее Ясмينا и нахмурилась.

– Она очень милая маленькая девочка, – сказала я.

Оми захихикала.

– погоди, вот познакомишься с моей Дуа, – сказала она, – увидишь, у кого действительно ясная головка! А какая память! Да она наизусть Коран цитирует лучше старого Маджуби! Точно вам говорю: если б эта девочка мальчиком родилась, она бы уже всей деревней командовала...

Фатима насмешливо заметила:

– Наша Оми всегда мальчиков требует. И поэтому поощряет Майю, когда та бегает где хочет, как мальчишка, и над дедом подшучивает.

Оми подмигнула Майе. Майя просияла и тоже ей подмигнула.

Ясмينا смотрела на это с улыбкой, а вот Захра хранила полную серьезность; мало того, ей, похоже, было даже несколько не по себе; во всяком случае, выглядела она куда более сдержанной, чем остальные.

– Нам бы следовало предложить госте чаю, – сказала она.

Я покачала головой.

– Нет, спасибо, я уже пила. Большое спасибо за печенье. Я, пожалуй, уже пойду. Не хочу, чтобы мои дочери волновались.

Я взяла свою корзинку, теперь наполненную самыми разнообразными марокканскими лакомствами.

– Мне тоже доводилось делать такие вкусные вещи раза два, – сказала я. – Но теперь я в основном делаю просто разные шоколадки. А знаете, это ведь я раньше арендовала тот магазин, что напротив церкви. Там, где был пожар.

– Правда? – Фатима даже покачала головой.

– Ну, это было очень давно, – сказала я. – А кто там теперь живет?

Возникла еле заметная пауза; улыбка на круглом лице Фатимы несколько утратила теплоту; Ясмينا опустила глаза и зачем-то принялась поправлять ленту у Майи в волосах; а Захра явно занервничала. Одна Оми не растерялась; громко фыркнула и сообщила:

– Да Инес Беншарки!

Инес. Значит, *вот как* ее зовут.

– Она что, сестра Карима Беншарки? – спросила я.

– Кто тебе это сказал? – удивилась Оми.

– Да кто-то из деревенских.

Захра искоса глянула на Оми:

– Оми, пожалуйста...

Та поморщилась.

²⁹ С соизволения Аллаха (*арабск.*).

– *Yar*³⁰. В другой раз поговорим. Надеюсь, ты еще к нам заглянешь? Принеси тогда этих своих шоколадок. И детей своих приведи.

– Конечно. Обязательно принесу и приведу. – Я повернулась к двери, и Фатима вышла на улицу, чтобы проводить меня.

– Спасибо за персики.

Я улыбнулась:

– Приходите к нам в гости в любое время.

Солнце уже село. Близилась ночь. Скоро жители Маро усядутся наконец за стол, чтобы на время прервать долгий дневной пост. Выйдя на улицу, я увидела, как покинувшие мечеть люди расходятся по домам. Некоторые посматривали на меня с любопытством – здесь нечасто увидишь женщину, просто так идущую по улице, да еще и в одиночестве, да еще и одетую в джинсы и мужскую рубашку, да еще и с распущенными волосами. Но все же большинство мужчин меня игнорировало, старательно отводя глаза в сторону, что в Танжере считается признаком уважительного отношения, но в Ланскне вполне могло бы сойти и за оскорбление.

Навстречу мне попадались в основном мужчины – в рамадан женщины чаще всего остаются дома и готовятся к *ифтару*. На одних были обыкновенные белые рубахи, на других – настоящие *джеллабы* или долгополые одеяния с капюшоном, *бурнусы*, на которые мы с матерью вдоволь насмотрелись в Танжере. У многих головы были прикрыты шапочками для молитвы, но некоторые пожилые мужчины носили фески или даже черные баскские береты, а некоторые повязывали голову «арафатками». Встретилось в толпе и несколько женщин – в основном в черных *никабах*. Интересно, подумала я, смогу ли я узнать среди них Инес Беншарки? И в ту же секунду вздрогнула, увидев ее. Да, это, безусловно, была она, Инес Беншарки, Женщина в Черном. Она шла отдельно ото всех и двигалась с изящной и ритмичной грацией танцовщицы.

Остальные женщины шли маленькими группками, болтая друг с другом и смеясь. Инес Беншарки держалась подчеркнуто обособленно; казалось, она окутана пеленой молчания, замкнута в некую капсулу сумеречного света. Гордая: плечи прямые, голова высоко поднята.

Она прошла совсем рядом со мной – я могла бы до нее дотронуться, – так что я даже под ее черной *абайей* успела заметить промельк цветов ее ауры. И тут же с внезапной остротой вспомнила тот день в Париже, когда с моста Искусств за мной наблюдала женщина в черном *никабе*, из-под которого мне были видны лишь ее глаза, сильно подведенные сурьмой. Только у Инес Беншарки были совсем другие глаза, поистине прекрасные: миндалевидной формы, ленивые, как долгий летний день, и ничуть не подкрашенные. Она шла, опустив долу свои чудные очи, и люди вокруг инстинктивно расступались, давая ей пройти. Никто не пытался с нею заговорить. Никто на нее даже не смотрел.

Интересно, что в ней такого? Отчего в ее присутствии люди смущаются, чувствуют себя не в своей тарелке? Уж конечно не *никаб* тому виной – мало ли в Маро женщин, которые тоже носят покрывало, но при этом вокруг них не возникает леденящий холод отчуждения и ощущение полной изолированности от прочих. Кто же она такая, эта Инес Беншарки? И почему никто не хочет ничего о ней рассказывать? И почему все старательно делают вид, что она действительно сестра Карима Беншарки, если и старая Оми, и все остальные члены семейства Аль-Джерба явно уверены, что отношения между «братом и сестрой» носят куда более интимный характер?

³⁰ Да, ладно (*арабск.*).

Глава шестая

Среда, 18 августа

Я больше часа оттирал с входной двери черную краску, но и после этого надпись, хоть и стала похожа на негатив, все еще была заметна, настолько краска успела въестся в дерево. Теперь дверь придется попросту перекрасить – как будто без того мало поводов для сплетен обо мне.

Ночью я почти не спал. Было душно, воздух казался совсем неподвижным, каким-то давящим. Окончательно я проснулся уже на рассвете и сразу же настезь распахнул ставни. Разумеется, с того берега реки, из Маро, уже доносился призыв муэдзина. Allahu Akhbar, Господь велик. Мне безумно хотелось добежать до церкви и броситься звонить во все колокола, чтобы утопить в церковном звоне этот наглый клич и стереть наконец усмешку с лица старого Маджуби. Он же прекрасно понимает: то, чем он занимается, во Франции строго запрещено, однако ни один местный представитель власти в его дела вмешиваться не станет, как не станет и защищать наши права: ведь *чисто технически* призыв к намазу действительно исходит *изнутри* мечети и усилители они не используют. А значит, буква закона соблюдена полностью.

Allahu Akhbar, Allahu Akhbar...

Должно быть, у меня исключительный слух. Большинство людей, похоже, даже не замечают завываний муэдзина – например, Нарсис, который явно понемногу глохнет, утверждает, что у меня просто слишком богатое воображение. Но ведь это не так! А уж в такое тихое утро, как сегодня, когда можно расслышать каждый легкий всплеск воды в Танн, каждый посвист птицы, этот ранний клич муэдзина врывается в мою жизнь, точно шум ливня.

Дождь, ливень. Ну вот, очередная мысль, не дающая мне покоя. Дождей у нас не было весь месяц. И дождичек совсем не повредил бы – чтобы вновь расцвели цветы в садах, чтобы с улиц смыло наконец пыль, чтобы стали хоть немного прохладнее эти адские августовские ночи. Но сегодня дождя точно не будет: на небе ни облачка.

Я выпил чашку кофе и пошел в булочную Пуату. Купил пакет круассанов, хлеб, отнес все это к дому Арманды и оставил на крыльце у парадной двери – чтобы Вианн сразу его увидела.

Улицы в Маро были еще тихи. Я догадывался, что люди стараются успеть позавтракать в последние полчаса, оставшиеся до восхода солнца. Я не встретил никого, лишь одна девушка, лицо которой скрывал темно-синий *хиджаб*, стрелой пересекла главную улицу как раз в тот момент, когда я уже подходил к мосту, и, опасливо на меня глянув, резко повернула назад, исчезнув в переулке рядом со спортзалом.

Спортзал принадлежит Саиду Маджуби. Ненавижу это место. Отвратительное обшарпанное здание в конце столь же отвратительной улочки. Возле него вечно толпится молодежь – сплошь молодые мужчины, но среди них не увидишь ни одного европейского лица, а воздух прямо-таки пропитан тестостероном. Даже если просто пройти мимо этого проклятого места, сразу почувствуешь сильный запах *кифа* – многие молодые марокканцы его курят, а полиция не желает вмешиваться. Выражаясь словами отца Анри Леметра, мы должны «проявлять толерантность и понимание особенностей иной культуры». Вероятно, к «особенностям иной культуры» относится и то, что многим девочкам не разрешают посещать обычную школу, а также появляющиеся время от времени упорные слухи о случаях домашнего насилия в арабских семьях. Иной раз об этом даже сообщают в полицию, но насильникам все сходит с рук, ибо никто и не думает расследовать подобные дела. Полицейские, видимо, считают, что вся ответственность в данном случае ложится на старого Маджуби, а значит, им и не нужно ничего предпринимать, да и вообще такие вещи лучше не замечать.

Дверь в спортзал была распахнута настезь и закреплена клином – в такую жару там, внутри, должно быть, настоящее пекло; и хотя я даже головы в ту сторону не повернул, сразу

почувствовал, как в затылок мне невидимой шрапнелью буквально впился целый залп ненависти.

Слава богу, спортзал остался позади!

Господи, отец мой, до чего же я себя ненавижу за то, что даже пройти мимо этого проклятого переулочка боюсь! Сам наложил на себя епитимью – решил, что обязательно буду ходить здесь каждый день в надежде все-таки победить собственную трусость. Точно так же мальчишкой я заставлял себя ходить мимо огромного осинового гнезда над задней стеной церкви. Осы были жирные, отвратительные; они просто приводили меня в ужас; это был настоящий страх, а не обычное опасение, что меня могут ужалить. Примерно тот же страх я испытываю, проходя мимо спортзала Саида, – кожу покалывает от избытка адреналина, пот жжет подмышки, скапливается в ямке на шее. Я всегда невольно ускоряю шаг, стоит мне приблизиться к этому месту, и сердце мое начинает отчаянно биться, однако сердцебиение почти сразу же прекращается, как только спортзал остается позади, и я с облегчением понимаю, что на сегодня епитимья исполнена.

Благослови меня, отец мой, ибо я согрешил.

Странно. Я ведь не сделал ничего плохого.

Выйдя на мост, за которым раскинулся Ланскне, я остановился у парапета. Оттуда хорошо был виден старый Маджуби, сидевший у себя на террасе в плетеном кресле-качалке – это кресло, по-моему, уже стало какой-то частью его тела. Маджуби что-то читал – Коран, скорее всего, – однако, заметив меня, приветственно махнул рукой, что, на мой взгляд, выглядело довольно нахально.

Впрочем, я тоже помахал ему – я всегда стараюсь держаться со спокойным достоинством и никогда не допущу, чтобы меня втянули в непристойное соперничество с этим человеком. Он широко улыбнулся – даже на таком расстоянии мне были видны его зубы, – и я услышал из-за полуоткрытой двери дома громкий смех, потом оттуда показалась мордашка маленькой девочки с желтым бантом на макушке. Наверное, подумал я, внучка из Марселя приехала его навестить. Когда я двинулся дальше, взрыв смеха повторился.

– Спрячь скорей спички! Сюда наш месье кюре идет!

Затем кто-то резко окрикнул девочку «Майя!», маленькое личико мгновенно скрылось за дверью, и вместо девочки на веранде появился Саид Маджуби. На голове шапочка для молитвы, глаза гневно сверкают. Прости меня, Господи, но уж лучше насмешки старого Маджуби! Саид продолжал гневно смотреть на меня, и в его взгляде читалась откровенная враждебность, даже угроза. Этот человек, безусловно, считает виновником пожара именно меня, и что бы я ни говорил, его мнение на сей счет останется неизменным.

Старый Маджуби что-то сказал сыну по-арабски. Саид ответил на том же языке, по-прежнему не сводя с меня глаз.

Я вежливо кивнул в знак приветствия. Мне хотелось показать и Саиду, и его отцу, что меня так просто не запугаешь. Однако я постарался как можно быстрее миновать мост и вновь оказаться на относительно дружественной территории.

Видишь, отец мой, с какими людьми мне приходится иметь дело? А ведь раньше я хорошо знал эту общину. Люди приходили ко мне со своими проблемами вне зависимости от того, ходят они в нашу церковь или нет. Теперь за них в ответе Мохаммед Маджуби, и его поддерживает отец Анри Леметр, который, как и Каро Клермон, считает, что носить сутану можно лишь время от времени и куда важнее создавать некие «мультирелигиозные» группы, устраивать «кофейные утреники» и устанавливать в церкви телеэкраны, закрывая глаза на все остальное – на курильщиков *кифа*, на эту мечеть с ее несанкционированными призывами к молитве и незаконно выстроенным минаретом, – ибо только тогда, по их мнению, дух единства вновь сможет возродиться в Ланскне-су-Танн.

Но отец Анри ошибается. Сейчас мы полностью разобщены; жители Ланскне разделены на «мы» и «они». Так что мечеть старого Маджуби с ее минаретом – отнюдь не главная моя забота; и пусть кое-кто думает обо мне что хочет, но у меня еще сохранилось какое-то чувство юмора. А вот та враждебность, которую я почти физически ощущаю каждый раз, стоит мне пройти мимо спортзала Саида, – совсем другое дело; она не может меня не беспокоить. По словам отца Анри Леметра, мы должны проявлять толерантность, должны с пониманием относиться к верованиям других людей, но как быть, если те, кто исповедует иную, чем мы, веру, не хотят – *не желают!* – проявлять толерантность по отношению к нам?

Снова оказавшись на своем берегу, я двинулся к площади Сен-Жером. Мы с Люком договорились встретиться там в девять часов, но каким-то неведомым образом я уже в половине восьмого вновь оказался у дверей бывшей *chocolaterie* и вошел внутрь.

Там по-прежнему пахло дымом, но от мусора помещение уже было практически очищено. Вчера мы с Люком успели только заглянуть на верхний этаж, однако исходную точку пожара определили довольно легко: ею оказалась почтовая щель в двери, через которую внутрь пропихнули смоченные бензином тряпки. Именно поэтому первой и загорелась именно дверь, а следом сгорела и кое-какая одежда, и висевший на стене ковер, и несколько деревянных школьных стульев.

Но это же просто оскорбительно, отец мой! С какой стати они считают, что я был способен устроить столь жалкий поджог? Да любой ребенок сделал бы это лучше! Внизу уже вовсю пылал огонь, когда эта женщина, сестра Карима Беншарки, проснулась, но, к счастью, в задней части дома есть пожарный выход, и они с девочкой успели выбраться наружу невредимыми, а соседи, вооружившись шлангами и ведрами, дружно бросились тушить пожар.

Вот видишь, отец мой, общинный дух Ланскне все-таки проявил себя. И замечь, ведь с *ее* стороны никто не пришел помочь. В ту ночь казалось, что Маро находится за сотню миль от нас. Ближайшая пожарная часть от нас в тридцати минутах езды; за это время все помещение, вполне возможно, успело бы сгореть дотла.

Я вдруг услышал наверху чьи-то шаги. Значит, в доме кто-то есть? Первым делом я подумал, что это Люк, но, с другой стороны, зачем ему понадобилось туда лезть, да еще и за полтора часа до назначенной встречи? Шаги послышались снова; мне показалось, что кто-то очень осторожно подкрался к лестнице и прислушивается.

– Кто там? – спросил я.

Шаги стихли. Несколько мгновений в доме царила полная тишина, а затем вдруг раздался громкий стремительный топот маленьких ног по голым доскам пола и скрип пожарной лестницы. Сразу стало ясно, что это дети – наверняка занимались наверху каким-то безобразием. Я выбежал наружу, надеясь перехватить юных преступников, но к тому времени, как я открыл дверь и перебрался через груды обугленных обломков, которые мы сложили в саду, беглецы уже успели удрать. Я заметил только какую-то *maghrebine*; она быстро удалялась от меня по переулку, и можно было лишь гадать, то ли это простое совпадение, то ли она одна из тех, кто прятался наверху.

Я поднялся на второй этаж и осмотрел расположенные там спальни. Их две, причем одна очень маленькая, и в нее можно попасть только по приставной лестнице через люк. Стоя на лестнице, я заглянул в эту спальню, увидел круглое окошко, похожее на иллюминатор, и сразу вспомнил, как Ру приводил его в порядок и вставлял стекло. Эта комнатка почти не пострадала. Лишь стены были, пожалуй, немного закопчены, а в остальном она показалась мне вполне пригодной для обитания. Обыкновенная детская комната – маленькая кроватка, на стенах постеры с портретами звезд индийского Болливуда. Были там и книги – в основном на французском. Насколько я мог убедиться, те юные преступники, которые сюда залезли, ничего из вещей не тронули.

И тут у меня за спиной послышался шорох, и женский голос произнес:

– Что вы тут делаете?

Я обернулся. Это была Инес Беншарки.

Глава седьмая

Среда, 18 августа

Пожалуй, я до сих пор еще ни разу не слышал ее голоса. Голос у нее был звучный, и говорила она почти без акцента, разве что чуть-чуть чувствовалось, что это уроженка Северной Африки. Она была, разумеется, вся в черном – с головы до кончиков пальцев. Зато глаза ее, в кои-то веки смотревшие прямо на меня, оказались поистине прекрасными, удивительными: они были зеленые, окаймленные прямо-таки необычайной длины ресницами.

– Доброе утро, мадам Беншарки, – сказал я.

Но она, не отвечая на приветствие, повторила вопрос:

– Что вы делаете в моем доме?

Я не нашелся, что ей ответить. Пробормотал нечто невразумительное насчет ответственности перед приходом и о необходимости привести в порядок городскую площадь, однако объяснения мои звучали так, словно я и есть виновник случившегося здесь, в чем она, не сомневаюсь, и без того была уверена.

– Понимаете, я подумал, – сказал я, – что мы общими силами могли бы помочь вам привести эту квартиру в порядок. Вы ведь, должно быть, знаете, что представителей страховой компании можно ждать месяцами. А что касается владельца помещения, так он живет в Ажене и, возможно, далеко не сразу соберется заехать сюда, чтобы хоть взглянуть на ущерб. Но если каждый примет посильное участие...

– Посильное участие? – переспросила она.

Я попытался улыбнуться. И зря. Под своим покрывалом эта женщина, видимо, являла собой настоящий соляной столб, каменную глыбу!

Она покачала головой.

– Мне не нужна помощь.

– Но вы меня не поняли! – не унимался я. – Ведь никто бы не стал просить у вас платы за работу. Это был бы просто жест доброй воли...

Но она тем же ровным, безжалостным тоном повторила, что помощь ей не нужна, и я вдруг почувствовал, что мне хочется упрашивать ее, умолять принять эту помощь. Но вслух я лишь неуверенно промямлил:

– Ну, если таков ваш выбор...

Зеленые глаза по-прежнему смотрели на меня безо всякого выражения. Я еще раз попытался осторожно улыбнуться, но, по-моему, стал выглядеть в ее глазах еще более неуклюжим и виноватым.

– Я искренне сожалею, что у вас произошло такое несчастье, – сказал я. – И очень надеюсь, что вскоре вы с дочерью сможете снова сюда переехать. Как, кстати, поживает ваша девочка?

И снова она мне не ответила. Я чувствовал, что весь взмок от волнения; пот, выступивший под мышками, противными ручейками стекал по телу.

Когда я мальчишкой учился в семинарии, меня как-то заподозрили, что я принес на занятия сигареты. Меня вызвал к себе в кабинет отец Луи Дюран, отвечавший за дисциплину. Разумеется, я никаких сигарет не приносил – хоть и знал, кто это сделал, – но отвечал на вопросы отца Луи так уклончиво, что он не поверил в мою невиновность. В итоге я был наказан и за сигареты, и за то, что якобы пытался свалить вину на одного из товарищей. И я, прекрасно зная, что ни в чем не виновен, испытал тогда точно такое же чувство стыда, как и сейчас, когда попытался убедить эту женщину в своей невиновности. Да, я одновременно испытывал и стыд, и удивительное ощущение полной беспомощности.

– Мне очень жаль, – повторил я. – Но если я могу чем-то помочь...

– Если можно, оставьте меня в покое, – сказала она. – И меня, и мою...

И она, не договорив, вдруг умолкла. Казалось, все ее тело под черными одеждами мгновенно застыло и страшно напряглось.

– Что с вами? Вам плохо?

Она не ответила. Я обернулся и увидел Карима Беншарки. Он стоял совсем рядом – кто знает, сколько времени уже он наблюдал за нами?

Карим что-то сказал по-арабски.

Женщина довольно резким тоном ответила ему.

Он снова что-то сказал, и в голосе его послышалась нежность. Я испытал острую благодарность – дело в том, что я всегда считал Карима человеком образованным, прогрессивным, способным понять Францию и французскую культуру, и надеялся, что, может быть, он сумеет объяснить Инес, что я всего лишь хотел помочь.

С первого взгляда вы никогда бы не подумали, что Карим Беншарки – тоже *maghrebin*. Со своей светлой кожей и золотистыми глазами он вполне мог бы сойти за итальянца; он и одевается как европеец, носит джинсы, рубашки, кроссовки. Если честно, когда он впервые появился в Ланскне, я подумал, что появление у нас такого европеизированного космополита вполне способно внести немалый вклад в дальнейшую интеграцию жителей Маро и Ланскне; к тому же питал надежду, что дружба Карима с Саидом Маджуби поможет мне перекинуть некий мостик над пропастью, что разделяет сторонников старого Маджуби с его традиционными устоями и тех, кому ближе настроения и традиции двадцать первого века.

Так что теперь я с надеждой в душе воззвал к Кариму:

– Видите ли, я только что пытался объяснить вашей сестре, что Люк Клермон и я всего лишь хотели несколько уменьшить ущерб, нанесенный пожаром. К счастью, этот ущерб оказался в основном поверхностным, связанным с легко устранимым воздействием дыма и воды. Какая-то неделя – и это помещение вновь будет вполне пригодным для жизни. Вы, должно быть, уже обратили внимание, что мы успели вынести отсюда большую часть мусора и обгорелых обломков. Несколько слоев краски на стены, небольшие плотницкие усилия, новые стекла в окнах – и ваша сестра может опять готовиться к переезду сюда...

– Она не собирается сюда возвращаться, – сказал Карим. – Теперь она будет жить у меня.

– Но как же ее школа? – спросил я и повернулся к женщине: – Разве вы не будете продолжать занятия?

Она что-то сказала брату по-арабски. Я не знаю этого языка, но, как мне показалось, незнакомые слова прозвучали резко и сердито – впрочем, я не могу утверждать, что она действительно говорила сердито. Я пожалел, что не понимаю ни слова по-арабски, и снова ощутил приступ смутного стыда. Попытавшись заглушить это неприятное ощущение, я с улыбкой сказал, обращаясь к ним обоим:

– Я, разумеется, не могу не испытывать определенную ответственность за то, что здесь случилось. И действительно хотел бы помочь всем, чем смогу...

– Ей ваша помощь не требуется, – резко оборвал меня Карим. – Выметайтесь отсюда, не то я вызову полицию!

– *Что?!*

– То, что слышали. Я вызову полицию. Или вы думаете, что раз вы священник, так вам ничего не будет? Что вы можете избежать наказания за устроенный вами пожар? Все знают, что это сделали вы. Даже ваши прихожане так считают. А на тот берег я бы на вашем месте вообще больше не ходил – вам может там ох как не поздоровиться!

Я некоторое время молча смотрел на него, не зная, что сказать, потом все-таки спросил:

– Вы что же, меня запугать пытаетесь?

И в ту же секунду на смену противоположному ощущению стыда и вины пришло наконец нечто совсем иное. В душу мою буквально хлынула волна гнева, чистого холодного гнева, прозрач-

ного, как весенняя вода. Я выпрямился в полный рост – я ведь высокий, выше их обоих – и позволил вырваться на свободу и этому гневу, и тому горькому отчаянию, что скопилось во мне за последние шесть или семь лет.

Шесть или семь лет я старался наладить отношения с этими людьми; пытался заставить их хоть что-то понять. Шесть или семь лет я выслушивал наставления нашего епископа о том, как следует поддерживать единство общины; шесть или семь лет я стирал граффити с дверей своего дома; шесть или семь лет я был вынужден сражаться и с собственной паствой, и со старым Маджуби, с его мечетью, с этими женщинами, закутанными в черные покрывала, и с этими мрачными мужчинами; шесть или семь лет я терпел с их стороны странное, не высказанное вслух презрение.

Ах, отец Антуан, я очень старался быть терпимым. Старался *проявлять толерантность*. Но с некоторыми вещами просто невозможно смириться. Ну, мечеть я уже почти готов терпеть, но минарет? Но курильщиков *кифа*? Но этот спортзал, из которого буквально сочатся злоба и враждебность? Но этих девушек в *никабах*? Но эту мусульманскую школу для девочек? Такое ощущение, будто в нашей городской школе этих девочек могут научить чему-то иному, чем смирение и страх.

Нет, это вытерпеть невозможно! *Невозможно!*

Я не помню всего, что говорил им в эти минуты; не помню даже, много ли я успел сказать. Но я действительно был в бешенстве. Их неблагодарность взбесила меня не меньше, чем их враждебность. Но более всего меня взбесила полная утрата контроля над собой. Взбесило то, что я сам – несмотря на все усилия, несмотря на то, что, может, в Маро все же было несколько человек, сомневавшихся в моей виновности, – только что убедил обоих Беншарки, а значит, и всех остальных, что именно я в ответе за этот поджог.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.